

ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ



Дмитрий Офросимов

Дмитрий Офросимов

Превратности судьбы

«Автор»

2026

Офросимов Д.

Превратности судьбы / Д. Офросимов — «Автор», 2026

2026 год. Эксперимент в ЦЕРНе случайно отправляет в прошлое пятерых обычных людей. Инженер из Москвы, фермер из-под Берлина, музыкант из Лондона, гондольер из Венеции, математик из Мадрида — они оказываются в январе 1710 года. Каждый в своей стране, каждый один на один с чужим веком. Дмитрий Хворостов, московский инженер, попадает в Россию Петра I. Строит телеграф, радио, ракеты — и становится главным розмыслом империи. Но он не один. Устанавливая связь с другими «пришельцами», он создаёт тайный Орден Просвещённых, чтобы сохранить знание и предотвратить катастрофы будущего. Герои сталкиваются с парадоксом: если они изменят историю слишком сильно, то эксперимент в ЦЕРНе не состоится — и они сами не попадут в прошлое. Чтобы сохранить временную петлю, они запускают «Великий Спектакль» — грандиозный план, который должен продлиться три столетия. Это роман о судьбе, времени, цене прогресса и о том, что даже в прошлом можно строить будущее — если знать, ради чего ты это делаешь.

© Офросимов Д., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
Глава 1. Москва. Инженер	6
Глава 2. Пригород Берлина. Фермер	11
Глава 3. Лондон. Музыкант	13
Глава 4. Венеция. Гондольер	15
Глава 5. Мадрид. Игрок	18
Глава 6. Петля Коперника	21
Глава 7. Тишина после удара	25
Глава 8. Огонь из пальцев	28
Глава 9. Чужеземец под стражей	32
Глава 10. Механика доказательств	36
Глава 11. Глаза в глаза с исполином	40
Глава 12. У карты империи	43
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Превратности судьбы

Пролог

Бывает время — оно лежит неподвижно, как вода в старом колодце. Люди рождаются, живут и умирают, не ведая, что могут быть другими. Цари воюют за клочки земли, крестьяне пахут ту же глину, что и их прадеды, а в небе над ними горят те же звёзды — вечные, равнодушные, нетронутые.

А бывает время, когда в колодец падает камень.

Один камень — и круги расходятся во все стороны. Один человек — и история, дремавшая веками, вдруг срывается с места, как испуганный конь. Одна искра из будущего — и прошлое вспыхивает, перекраивая само себя.

Так случилось однажды, когда пятеро обычных людей из двадцать первого века оказались в веке восемнадцатом. Не по своей воле, не по чьему-то умыслу — просто потому, что вселенная иногда ошибается. Или, напротив, действует по законам, которых мы ещё не постигли.

Они упали в прошлое, как семена в мёрзлую землю. Никто не знал, прорастут ли они. Никто не знал, что из них вырастет. Меньше всех знали они сами.

Это история одного из них. История инженера, отца, мужа. История человека, который не верил в судьбу, но которому судьба поручила переписать историю целого мира.

Глава 1. Москва. Инженер

24 часа до Инцидента

Дмитрий Александрович Хворостов не верил в судьбу. Он не мог себе этого позволить при всём желании, ведь судьба требовала отдать бразды правления в свои руки и плыть по течению, как ветка по ручью, в надежде найти выход к морю. Но за его спиной была любимая семья — супруга и две дочки. Он не мог позволить себе надеяться на авось. Он должен был свернуть горы и повернуть реки вспять, если того требовало благополучие его семьи. Во всех событиях Дмитрий видел причину, в действиях — следствие, в проблемах — решение. Он никогда не искал оправданий, а предпочитал конкретные действия. Этот стержень в нём не поколебали ни финансовые кризисы, ни другие житейские проблемы, напротив — это помогало ему и его близким преодолевать сложности.

Но была у Дмитрия одна особенность, которую сам он считал не даром и не проклятием, а просто способом существования. Он не умел смотреть на вещи просто так. Каждый объект, попадавший в его поле зрения, мгновенно разбирался в сознании на составные части — не метафорически, а буквально, со всей инженерной дотошностью, на какую способен человеческий мозг.

Вот и сейчас, стоя босиком на холодном полу прихожей и застёгивая ремешок наручных часов, он смотрел на дверной звонок. Обычный беспроводной звонок, купленный женой в строительном гипермаркете три месяца назад. Дмитрий заметил, что звук стал тише. Не намного — процентов на пятнадцать, — но достаточно, чтобы его внутренний анализатор включил сигнал тревоги. Он снял крышку. Так и есть: контакт батарейки окислился, переходное сопротивление выросло, напряжение упало. Можно было просто почистить, но Дмитрий уже думал о том, что производитель сэкономил на металле контактной группы, поставив дешёвый сплав вместо нормальной латуни. «Ещё полгода — и контакт сгниёт полностью», — отметил он про себя и взял с полки отвёртку.

— Пап, ты обещал! — донеслось из кухни.

Голос принадлежал старшей дочери, Кате. Четырнадцать лет, переходный возраст, обострённое чувство справедливости и полное непонимание того, почему отец не может пройти мимо сломавшейся вещи. Дмитрий вздохнул, зачистил контакт, защёлкнул крышку и нажал кнопку. Звонок отозвался бодрым, полновесным «дзинь». Частотный спектр восстановился.

— Иду, — сказал он. — Пять секунд.

«Пять секунд» на языке Дмитрия означало «от трёх до десяти минут, в зависимости от сложности поломки». Семья знала это и давно перестала обижаться. Жена, Ольга, даже придумала термин — «хворостовское время». Оно текло по своим законам, подчиняясь не стрелкам часов, а внутреннему инженерному компасу.

Сегодня это самое «хворостовское время» уже дважды сдвигало график. Утром он задержался из-за смесителя в ванной — прокладка износилась, и вода капала с частотой одно падение в три секунды, что за ночь давало почти три литра потерянной воды. Дмитрий посчитал это в уме, пока брился, и цифра ему не понравилась. Потом, уже одеваясь, заметил, что дверца шкафа перекошена — верхняя петля разболталась, угол отклонения от вертикали составил примерно четыре градуса, что давало дополнительную нагрузку на нижнюю петлю в полтора раза выше расчётной. Он взял шестигранник и подтянул винты.

— Ты когда-нибудь выйдешь из дома? — спросила Ольга, проходя мимо с корзиной белья.

— Вышел уже, — ответил Дмитрий, не отрываясь от петли. — Мысленно. Физически — через минуту.

Ольга фыркнула и пошла в ванную. Она знала, что спорить бесполезно. Она вышла замуж за инженера и давно смирилась с тем, что их дом — это бесконечный набор неисправностей, которые муж видит, а она нет. Для неё дверца шкафа была «чуть кривоватой». Для него — конструкцией с распределённой нагрузкой, требующей немедленной балансировки.

Наконец он действительно вышел. Лифт не работал — Дмитрий машинально отметил, что звук троса изменился, вероятно, износ направляющих, надо бы написать в управляющую компанию. Спустился пешком, попутно считая ступеньки (их было сто восемь, что при высоте подступенка в пятнадцать сантиметров давало шестнадцать метров двадцать сантиметров). На улице его ждал белый Ford Explorer, к которому он шёл с тем же чувством, с каким пилот идёт к своему самолёту: предвкушение, смешанное с профессиональной настороженностью.

Машина завелась с пол-оборота. Двигатель работал ровно, без детонации, топливная смесь — в норме, компрессия — судя по звуку стартера — около двенадцати атмосфер во всех четырёх цилиндрах. Дмитрий слышал это, как музыкант слышит фальшивую ноту в оркестре. Он не включал музыку первые пять минут — просто слушал машину, давая ей «выговориться». И только убедившись, что всё в порядке, тронулся.

Сегодня вечером он возвращался с работы домой. Третье транспортное кольцо, бетонные джунгли Москвы застряли в автомобильных пробках. Это в очередной раз подтверждало его идею о том, что человечество не способно правильно организовать движение в замкнутой системе. В навигаторе не было отмечено каких-то аварий или участков с ремонтом дороги — просто красные и бордовые линии по всем транспортным магистралям. Дмитрий стоял, не сдвинувшись с места, уже минут двадцать, его белый внедорожник тихо урчал, переваривая бензин и остатки терпения. Эта ситуация явно говорила о том, что дороги перекрыты ради кортежа какого-то чиновника.

— Чёртовы бюрократы! — выругался он вслух. — Вместо того чтобы летать на вертолётах, они перекрыли движение. Пускают пыль в глаза очередному буржую, катая его с ветерком. А на обычных граждан им наплевать!

Но все его упрёки тонули в шуме города. Его больше беспокоил не идиотизм чиновников, а то, что он может не успеть заехать за разливным квасом, который так обожали его дочери. Недавно супруга прислала фото жаркого из духовки, которое дожидалось его на ужин, и он не хотел приходить домой с пустыми руками.

Пробка дёрнулась и снова встала. Дмитрий поставил селектор в паркинг, откинулся на подголовник и позволил себе закрыть глаза на минуту. Тишина. Относительная, конечно — с улицы доносился приглушённый гул, где-то сзади нервно сигналил чей-то «Солярис», — но внутри салона было тихо. И в этой тишине его мозг, не занятый внешними задачами, принялся за своё любимое занятие: деконструировать реальность.

Приборная панель. Пластик. Полипропилен с добавлением стекловолокна для жёсткости. Технология литья под давлением, температура формы — около 220 градусов. За панелью — жгут проводов, шина CAN, протокол обмена данными между блоками управления. Сигнал от датчика коленвала идёт на ЭБУ, там сравнивается с картой впрыска, корректируется по лямбда-зонду... Он мог бы разобрать весь автомобиль до последнего винтика, не выходя из салона, просто закрыв глаза.

Жена называла это «взглядом в никуда». Она говорила, что в такие моменты Дмитрий похож на робота, который ушёл в перезагрузку. Он не обижался. Жена была права. Он действительно перезагружался — но не отключаясь, а, наоборот, подключаясь к какой-то внутренней схеме мироздания, где всё имело причину, следствие и решение.

Иногда он думал: а как видят мир обычные люди? Вот Ольга, например. Она смотрит на тот же автомобиль и видит «машину». Цвет, форму, может быть, царапину на двери. Она не видит зазоров кузовных панелей, не слышит подстукивания гидрокompенсаторов, не ана-

лизирует пятно контакта шин с асфальтом. Она просто... живёт. Не разбирая реальность на запчасти. И в этом, подозревал Дмитрий, было какое-то особое, недоступное ему счастье.

Чтобы отвлечься, он включил видеохостинг, на котором обычно фоном слушал рассказы от имени Фейнмана и Пенроуза о проблемах теоретической физики, различные астрообзоры, особенно его интересовала тема чёрных дыр и прочие научно-популярные каналы. На первой странице подборки был репортаж из ЦЕРНа. Диктор с придыханием и благоговением, словно речь о святом Граале, говорил о «новом рубеже в понимании материи», о «столкновении ядер свинца на рекордных энергиях», о «возможном обнаружении гипотетических частиц». Дмитрий слушал вполуха, отвлекаясь на ругательства из-за возникшей пробки. Физика была его страстью с детства, но страстью платонической — он любил её, как любят далёкие звёзды: восхищённо, но без надежды когда-либо прикоснуться.

И вот что странно: именно физика — теоретическая, квантовая, та, что оперирует понятиями, неподвластными обычному воображению, — была единственной областью, перед которой его внутренний рентген пасовал. Он не мог «разобрать» уравнение Шрёдингера на шестерёнки. Не мог представить сингулярность в виде механизма. Чёрные дыры, кварки, запутанность — всё это ускользало от его деконструкции, и именно поэтому он так любил о них слушать. Это был единственный способ почувствовать себя обычным человеком — стоящим перед тайной с открытым ртом, без желания немедленно вскрыть её и посмотреть, что внутри.

Он любил наблюдать за научными работами, но всегда оставался зрителем. В его руках физика и теория превращались в работающие инженерные проекты.

Дмитрий всю жизнь проработал с автомобилями, хотя в детстве мечтал стать учёным, но судьба распорядилась по-другому — возможно, поэтому он судьбу и невзлюбил. Он был мастером на все руки, настоящий русский мужик, прекрасно разбирался в механике и электрике, мог создать и починить всё что угодно. Работая руководителем автоателье, он мог не пачкать руки, но всегда предпочитал показать мастер-класс и научиться чему-то новому. Именно поэтому он всегда возил с собой в машине чемодан с инструментами. В будни он пригождался на работе, по выходным на даче что-то обязательно требовалось починить, иногда вечерами он забирал его домой, чтобы что-то сделать по дому. Сегодня вечером он как раз обещал соседу помочь собрать комод.

Пробка сдвинулась с места. Дмитрий потёр глаза и приготовился маневрировать в потоке, чтобы сэкономить драгоценное время. Ему было сорок три. Возраст, когда жизнь уже не спрашивает, чего ты хочешь, а молча расставляет перед тобой задачи. Ипотека, колледж для старшей, спортивная секция для младшей, ремонт в квартире, новые зубы, которые с возрастом осыпаются всё быстрее. Всё это было правильно, надёжно, обоснованно, запланировано. Но иногда, в редкие минуты одиночества, как в этой пробке, когда он оставался наедине с самим собой, он ощущал странное предчувствие. Словно мир, который он знал, был только верхним слоем реальности, а под ним, на глубине, таилось нечто такое, что эту реальность создавало.

Пробка наконец рассосалась, и Дмитрий, перестроившись в крайний правый, вырвался на съезд. До дома оставалось минут пятнадцать, если не случится ничего непредвиденного. Он прикинул маршрут: сначала к ларьку с квасом на Пролетарской, потом во двор, запарковаться у третьего подъезда, подняться на лифте, который, скорее всего, опять не работает, и — домой. К жаркому. К дочкам. К вечернему покою, ради которого он, собственно, и крутил эту бесконечную гайку под названием «жизнь».

Репортаж из ЦЕРНа продолжал бубнить из динамиков. Дмитрий хотел уже переключить на музыку — что-нибудь из старого, Цоя или «Наутилуса», под настроение, — но вдруг замер. Диктор произнёс фразу, которая зацепилась в мозгу, как заусенец за шерстяную ткань:

«...учёные предполагают, что при достижении энергий, сопоставимых с первыми мгновениями после Большого взрыва, могут проявиться так называемые темпоральные кварки —

частицы, ответственные за хрональное поле. Теоретически они способны создавать локальные искривления пространственно-временного континуума...»

Дмитрий хмыкнул. Темпоральные кварки. Хрональное поле. Красивые слова. Он вспомнил, как в детстве зачитывался фантастикой — Стругацкими, Брэбери, Азимовым. Тогда казалось, что будущее будет состоять из звездолётов и роботов, а не из ипотеки и пробок на Третьем транспортном. Впрочем, он не жаловался. У него было дело, которое он любил, и семья, ради которой он жил. Что ещё нужно мужику в сорок три?

Он свернул на Пролетарскую. Ларёк с квасом ещё работал — жёлтый прямоугольник света в сгущающихся сумерках. Дмитрий припарковался, взял три литра тёмного, нефильтрованного, того самого, от которого у дочек оставались белые «усы» над верхней губой. Продавщица, пожилая женщина в пуховом платке, улыбнулась ему как старому знакомому и пожелала доброго вечера. Он кивнул, убирая бутылку в багажник, к чемодану с инструментами.

Снова за руль. Завести двигатель. Плавно тронуться. Теперь уже точно домой.

Он не знал, что до конца его прежней жизни остаётся семь минут.

Семь минут спустя

Сначала погас навигатор. Просто выключился, без предупреждения, и экран стал чёрным. Дмитрий чертыхнулся — барахлит контакт, надо будет завтра глянуть. Потом заглох двигатель. Стрелка тахометра упала в ноль, руль налился тяжестью, машина по инерции покати-лась к обочине. Дмитрий успел вывернуть и нажал на тормоз. Тормоз сработал. И на этом всё.

Тишина. Абсолютная, не московская тишина. В Москве не бывает такой тишины. Всегда что-то гудит, шуршит, воеет сигнализацией вдалеке. А здесь — ничего. Словно кто-то выключил весь мир одним рубильником.

Дмитрий дёрнул ключ зажигания. Никакой реакции. Даже стартер не щёлкнул. Он взглянул на приборную панель — она была мертва, как витрина закрытого магазина. Телефон? Телефон тоже погас, и сколько Дмитрий ни жал на кнопку включения, чёрный экран оставался чёрным.

Он открыл дверь и вышел наружу. И замер.

Потому что за дверью была зима.

Не та московская зима, что присыпает асфальт серой кашей из реагентов, а настоящая, лютая, первобытная зима. Снег лежал нетронутым ковром, искрясь в свете фар, и это были не сугробы у обочины, а глубокие, по колено, заносы, уходящие в густой еловый лес. Лес. Настоящий, дремучий лес, чернеющий острыми верхушками на фоне неба.

Воздух обжёг лицо морозом и запахом. Запахом хвои, дыма, сырой шерсти и чего-то ещё, чему Дмитрий не сразу нашёл название. А когда нашёл, по спине побежал холодок, не имеющий отношения к морозу. Это был запах открытого огня. Не бензина из выхлопной трубы, а живого, древесного костра, который жгут в печи или на поляне.

Он сделал шаг из машины, утопая ботинками в снегу. Огляделся. Фары выхватывали из темноты стволы деревьев, огромные, в два обхвата, и ветки, причудливо изогнутые под тяжестью снежных шапок. Ни фонарей. Ни домов. Ни звука машин. Только тишина и этот невероятный, густой запах прошлого.

— Какого хрена... — прошептал Дмитрий, и пар от его дыхания повис в морозном воздухе белым облачком.

Он постоял минуту, ожидая, что сейчас проснётся. Что это сон, дурацкий, нелогичный сон, какие снятся от переутомления. Но мороз щипал щёки, снег набивался в ботинки, а тишина давила на уши так, что становилось больно. Это был не сон.

И тогда — он сам не заметил, как это произошло, — его мозг включил свой извечный механизм деконструкции. Страх отступил, уступив место холодному, расчётливому анализу.

Температура воздуха: минус пятнадцать по Цельсию. Влажность: низкая, снег сухой, значит, осадков в ближайшие часы не будет. Высота снежного покрова: около сорока сантиметров. Тип леса: ель европейская, возраст — не менее ста лет, примесь сосны, подлесок отсутствует. Следов человеческой деятельности не наблюдается. Источник запаха дыма: тление древесины, расстояние до источника — не более трёх километров, направление — северо-северо-восток, ветер южный.

Он не думал об этом специально. Это происходило само — как дыхание, как сердцебиение. Мир разбирался на параметры, потому что только так Дмитрий мог с ним взаимодействовать.

Он вернулся к машине, открыл багажник. Чемодан с инструментами был на месте. Бутыль с квасом — тоже. Он машинально поправил её, чтобы не упала, и тут заметил, что фары начали тускнеть. Аккумулятор садился, и когда он сядет окончательно, вокруг не останется ни одного источника света во всём мире.

Ёмкость аккумулятора: 75 ампер-часов. Текущее потребление с включёнными фарами: около 15 ампер. Остаточный заряд после остановки двигателя: примерно 40%. Итого: до полного разряда осталось около часа. За это время нужно найти источник света, огонь или укрытие.

Дмитрий захлопнул багажник и глубоко вдохнул ледяной воздух.

— Ладно, — сказал он вслух. — Разберёмся.

В его устах это была не бравада. Это была констатация факта.

Он не знал, что разбираться придётся много лет. И что этот заснеженный лес — не Подмосковье, а Ингерманландия. И что на календаре, которого у него не было, значился январь 1710 года от Рождества Христова.

Глава 2. Пригород Берлина. Фермер

24 часа до Инцидента

Ганс Вагнер ненавидел запах солянки. Он мог различить его за километр — едкий, маслянистый, чужеродный всему живому. Солянка означала, что сосед Клаус снова вывел свой трактор, чтобы вспахать поле «по-современному», глубоко, с оборотом пласта, убивая всё, что создавалось в почве годами. Ганс стоял на краю своего участка, смотрел на чёрный дым из выхлопной трубы соседского «Дойца» и молча сжимал кулаки.

Ему было тридцать пять. Худощавый, с преждевременной сединой на висках и руками, которые знали землю лучше, чем лицо собственной матери. Он мог взять горсть почвы, растереть между пальцами, понюхать — и сказать, чего ей не хватает. Азота. Калия. Органики. Жизни. Почва для него была не просто субстанцией, в которую бросают семена. Она была живым организмом, дышащим, мыслящим, населённым миллиардами существ, о которых никто не думает, кроме таких сумасшедших, как он.

Сумасшедшим его и считали.

— Опять медитируешь на грядки? — раздался голос за спиной.

Ганс обернулся. Инга, его жена, стояла на крыльце их небольшого дома, скрестив руки на груди. У неё было усталое лицо женщины, которая вышла замуж за мечтателя, а получила вечную борьбу с кредитами. Она всё ещё любила его — он это знал, — но любовь истончалась, как старая простыня, и сквозь неё всё яснее проступало разочарование.

— Я не медитирую, — спокойно ответил Ганс. — Я слушаю.

— И что тебе говорит земля?

— Что Клаус — идиот.

Инга покачала головой и ушла в дом. Ганс отвернулся и снова устоял на поле. Он не шутил. Он действительно слушал землю, и земля действительно говорила. Не словами — запахами, цветом, влажностью, структурой. Она рассказывала ему о том, как гибнет микрофлора под лемехом плуга, как задыхаются без кислорода дождевые черви, как испаряется влага, которую держал растительный покров. Всё это было для него так же очевидно, как для другого человека — крик о помощи.

Он отвернулся от поля и пошёл к своему сараю. Там, в прохладном полумраке, стояли его эксперименты: горшки с разными типами почв, образцы компоста, самодельная установка для вермикюльтивирования — разведения червей. В углу лежала стопка книг на немецком и английском: «Почвенная микробиология», «Регенеративное земледелие», «Теория гумусового слоя». Ганс выписывал их из-за границы, тратя на это деньги, которые Инга откладывала на новый холодильник. Холодильник работал плохо, но книги были важнее. По крайней мере, для него.

Он сел на старый ящик и взял в руки образец — банку с тёмной, рассыпчатой землёй. Это был его гордость. Почва, которую он восстанавливал три года, не используя плуг, только сидераты, компост и правильный севооборот. Она пахла лесом после дождя. В ней кипела жизнь — грибы, бактерии, простейшие, целая вселенная, невидимая глазу. Если бы можно было показать людям этот микромир, думал он, они бы никогда больше не пустили плуг в землю.

Но люди не хотят смотреть. Люди хотят быстро, дёшево, много. Урожай любой ценой. А то, что через двадцать лет на этом поле не вырастет даже сорняк, — кого это волнует?

— Волнует, — сказал он вслух. — Меня волнует.

В кармане завибрировал телефон. Сообщение от банка: «Напоминаем о просроченной задолженности по кредиту. Просим погасить в течение десяти дней». Ганс выключил экран и

убрал телефон обратно. Десять дней. У него было десять дней, чтобы совершить чудо, иначе ферма уйдёт с молотка. И тогда — прощай, эксперименты. Прощай, земля. Прощай, мечта.

Он закрыл глаза и представил, как могло бы быть. Представил поля, покрытые зелёным ковром сидератов круглый год. Никакого чёрного пара, никакой эрозии. Корни растений держат почву, микориза связывает деревья и травы в единую сеть, вода не уходит в песок, а остаётся в гумусе. Урожай растут, химия не нужна, насекомые возвращаются, птицы поют. И люди сыты.

Это была его утопия. Его религия. Его наука.

Он открыл глаза. За окном сарая сгущались сумерки. Где-то далеко, за сотни километров отсюда, в Женеве, готовился к запуску эксперимент, который изменит всё. Но Ганс об этом не знал. Он знал только, что завтра нужно ехать в город, умолять банк об отсрочке, а вечером — снова к земле, к червям, к горшкам с рассадой.

Он поднялся, поставил банку на место и погасил свет. В доме его ждала Инга, холодный ужин и тяжёлый разговор. Но, прежде чем выйти, он на секунду задержался у двери, вдохнул запах земли и улыбнулся.

Запах солянки исчез. Остался только лес после дождя.

Пригород Берлина, 24 часа спустя

Когда это случилось, Ганс был в поле. Один, без трактора, без помощников — просто стоял на коленях и закапывал в лунки пророщенные семена фасоли. Он делал это вручную, как его прадед, как прадед его прадеда, потому что верил: рука человека передаёт земле что-то, чего не передаст машина. Тепло. Заботу. Жизнь.

Сначала изменился свет. Небо над Бранденбургом, серое и плоское, вдруг стало густым, янтарным, словно кто-то натянул над миром старый пергамент. Потом пропал звук. Ветер стих, птицы замолчали, и в этой тишине Ганс услышал, как стучит его собственное сердце — громко, медленно, одиноко.

Он поднял голову. И увидел, что его поля больше нет.

Вместо ровных борозд — бугристая целина, заросшая вереском и молодым дубняком. Вместо бетонной дороги за посадкой — разбитая колея, уходящая в туман. Вместо линии электропередач — голое небо, в котором кружили какие-то крупные птицы, непохожие на тех, что он знал.

Он встал. Ноги дрожали. В висках стучало. Ганс не был физиком, он был фермером, но он точно знал: поля не исчезают просто так. Дороги не превращаются в колеи. Линии электропередач не растворяются в воздухе.

Он сделал несколько шагов вперёд и споткнулся о камень, поросший мхом. Камень был старый, вбитый в землю, словно его не трогали столетиями. Рядом валялась ржавая подкова — ручнойковки, грубая, неровная.

Ганс нагнулся, поднял подкову и долго вертел в руках. Потом оглянулся. Его дома не было. Не было сарая с горшками. Не было столбов с проводами. Только лес, поле и небо — огромное, чужое, янтарное.

И тогда, стоя посреди чужой земли с ржавой подковой в руке, Ганс Вагнер, фермер-неудачник из пригорода Берлина, впервые за долгие годы почувствовал не страх, и не отчаяние, а странное, горькое спокойствие. Земля под его ногами была живой. Не тронутый плугом, не отравленной химией. Девственной. Настоящей. Такой, о какой он мечтал.

— Значит, так, — сказал он вслух. Голос прозвучал глухо, но твёрдо. — Будем работать.

И он пошёл на восток, туда, где, как ему казалось, должен быть Берлин. Он не знал ещё, что Берлин уже есть — только это не тот Берлин, который он помнил. И что идти ему предстоит не день и не два. И что эта земля, которую он слушал всю жизнь, теперь будет слушать его.

Глава 3. Лондон. Музыкант

24 часа до Инцидента

Томас Блэквуд слышал цвет.

Нет, не так. Томас Блэквуд *видел* звук. Каждая нота имела для него оттенок, каждый аккорд — форму. До-мажор был золотистым, как мёд на просвет. Ре-минор отливал холодной синевой ноябрьского неба. Фальшивая струна становилась ржаво-коричневой, скрежет тормозов — оранжево-алым, а человеческая ложь всегда звучала болотно-зелёной, и Том безошибочно знал, когда ему врут.

Синестезия — так это называлось в медицинских книжках. Особенность восприятия, при которой раздражение одного органа чувств вызывает отклик в другом. Для врачей это был диагноз. Для Тома — способ существования. Он не помнил себя без этого. Мир всегда был для него симфонией, сложной, многослойной, иногда прекрасной, иногда невыносимой.

Сегодня симфония Лондона звучала особенно грязно.

Том стоял в переходе станции «Бейкер-стрит», прижимая к плечу электроскрипку. Инструмент был старый, переделанный из акустического ещё в студенческие годы: самодельный звукосниматель, батарейный усилитель, провод, подключённый к маленькому динамику у ног. Звук получался не идеальный, но Том не стремился к идеалу. Он стремился к правде.

Перед ним на раскрытом футляре лежали монеты — несколько фунтов, мелочь, которую бросали спешащие пассажиры. Никто не останавливался. Никто не слушал. Лондонское метро — не место для искусства. Это место для перемещения тел из точки А в точку Б. Том понимал это и не обижался. Он играл не для публики. Он играл для самого перехода — для этих серых стен, для гула поездов, для сквозняка, который гулял по туннелям. Он настраивал акустику пространства, как настройщик настраивает рояль. Переход звучал плоско, глухо, с неприятным резонансом на частоте 200 герц. Том слышал это и пытался исправить — добавлял басов, убирал верхние частоты, искал ту единственную ноту, которая заставит бетон запеть.

— Чёртов псих, — бросил кто-то, проходя мимо.

Том улыбнулся. Он привык. Он окончил Королевскую академию музыки с отличием, его дипломная работа по акустике городских пространств получила высший балл, ему прочили место в симфоническом оркестре или кафедру в университете. А он выбрал переход. Не из бунтарства — из честности. В оркестре он должен был играть то, что скажут. На кафедре — учить тому, что написано в учебниках. А здесь, в переходе, он мог слышать мир и отвечать ему.

Он перестал играть и прислушался. Где-то наверху, на улице, гудел автобус — низкое до. В туннеле нарастал шум приближающегося поезда — крещендо в тональности фа-диез. Шаги женщины на каблуках — стакато, ритм 120 ударов в минуту. Всё это складывалось в партитуру, огромную, живую, которую никто, кроме него, не читал.

Телефон в кармане завибрировал. Том достал его и взглянул на экран. Сообщение от матери: «Томас, мы с отцом беспокоимся. Пожалуйста, позвони. Ты не можешь вечно жить на улице».

Он убрал телефон. Родители не понимали. Они видели в нём неудачника — сына, который променял карьеру на бродяжничество. Они не знали, что Том не бродяжничает. Он собирает данные. Каждый переход, каждый мост, каждое заброшенное здание Лондона — это акустическая лаборатория. Он изучает, как форма пространства влияет на звук, как материалы поглощают или отражают волны, как можно спроектировать здание, которое будет звучать как орган. Его записи, которые он делал на старенький диктофон, могли бы лечь в основу диссертации. Но диссертация не интересовала его. Его интересовала тайна.

Тайна заключалась в том, что мир, по мнению Тома, был неправильно настроен. Все эти дома, мосты, туннели — они строились без учёта акустики. Люди жили в шумовом аду и не

замечали этого. А ведь можно было иначе. Можно было строить города, которые поют. Мосты, которые гудят ветру в ответ. Залы, где музыка возникает сама собой, просто от того, что люди в них дышат. Это была его мечта. Его утопия. Его симфония.

Он снова поднял скрипку и заиграл. На этот раз — своё. Не Баха, не Пахельбеля, а мелодию, которую он услышал вчера, проходя мимо стройки. Кран скрипел, поворачиваясь на ветру, и в этом скрипе была странная, щемящая гармония. Том запомнил её и теперь пере-
кладывал на струны.

Мимо прошёл мальчик лет десяти с матерью. Мальчик остановился и дёрнул мать за рукав:

— Мама, смотри! У него музыка светится!

Мать потянула его дальше, не оборачиваясь. А Том замер на полуноте. Мальчик видел. Мальчик слышал глазами, как и он. Значит, он не один такой. Значит, есть и другие.

Эта мысль грела его весь оставшийся вечер.

Лондон, 24 часа спустя

Когда это случилось, Том был на мосту Ватерлоо. Он стоял, облокотившись на перила, и смотрел на Темзу. Вода была свинцово-серой, под цвет неба, и течение звучало как бесконечная басовая нота — ровная, глубокая, успокаивающая. Том любил этот звук. Он приходил сюда, когда нужно было подумать или просто помолчать.

Сначала он почувствовал тишину.

Не ту тишину, что бывает между звуками, а абсолютную, космическую тишину, в которой исчезло всё — ветер, вода, город. Он не слышал даже собственного пульса. Мир стал немым, и в этой немоте Том впервые в жизни испугался. Звук был его зрением, его осязанием, его способом быть в мире. Без звука он ослеп.

А потом звук вернулся. Но это был чужой звук.

Не гул машин, не шум поездов, не шаги прохожих. Что-то другое. Скрип дерева, плеск вёсел, крики чаек, звон колокола — и всё это в странной, непривычной акустике. Без реверберации бетона, без эха от стеклянных небоскрёбов. Чистые, сырые звуки, какие бывают только в деревне или в прошлом.

Том открыл глаза. Он не заметил, когда закрыл их.

Моста Ватерлоо не было. Не было набережной с гранитным парапетом. Не было колеса обозрения на том берегу. Вместо этого — деревянные причалы, парусные корабли у пирсов, складские постройки из потемневшего от времени дерева. Пахло рыбой, дёгтем, речным илом и конским навозом. Люди, которые шли по набережной, были одеты странно — длинные сюртуки, треуголки, плащи из грубого сукна.

Том медленно опустился на корточки, прижимая скрипку к груди. Он не кричал, не бежал, не пытался проснуться. Он просто слушал. И новый мир звучал иначе. Он был чище, беднее по частотам, но в нём была какая-то первобытная правда, которой не хватало Лондону XXI века.

Том закрыл глаза и начал раскладывать звуки по цветам. Деревянный скрип причала — тёплый коричневый. Крик чайки — белый с голубым отливом. Плеск воды — изумрудный, глубокий. И где-то вдалеке, за всем этим, человеческий голос — низкий, хриловатый, цвета старой меди.

Он открыл глаза и пошёл на этот голос. Скрипка была при нём. Больше у него ничего не было. Но ему казалось, что этого достаточно.

Глава 4. Венеция. Гондольер

24 часа до Инцидента

Марко Контарини родился с водой в ушах. Это была семейная шутка — не очень смешная, но правдивая. Его мать, Мария, разрешилась от бремени прямо в лодке, когда отец, Луиджи, грёб из Мурано в Каннареджо, торопясь к доктору. Была декабрьская ночь, вода в лагуне почернела от холода, и первый звук, который услышал новорождённый Марко, был не голос матери, а плеск весла.

Доктор потом сказал, что младенец чудом не захлебнулся. Акушерка — что у него будут особые отношения с водой. И то и другое оказалось правдой.

Теперь Марко было двадцать восемь, и он до сих пор чувствовал воду кожей. Не метафорически — буквально. Он мог опустить руку в канал и сказать, с какой скоростью течёт глубинное течение, какова температура на дне, солёная вода или пресная, и как давно здесь проходила лодка. Он различал оттенки запаха воды, как сомелье различает букет вина. Гнилые водоросли у Сан-Марко пахли иначе, чем мазут у вокзала Санта-Лючия, а вода в узких каналах Каннареджо имела особый, затхло-сладковатый душок застоявшейся жизни.

Семья Контарини правила гондолами четыреста лет. Никто не мог сказать точно, когда первый Контарини взял в руки весло, но в семейном архиве хранилась запись 1602 года о некоем Джованни Контарини, которому Совет Десяти выдал патент на перевозку пассажиров через Гранд-канал. С тех пор всё шло по накатанной колее: сын сменял отца, внук — деда, и так столетие за столетием.

Марко должен был стать следующим.

Должен был. Но не стал.

— Ты позоришь семью, — сказал отец сегодня утром, в сотый раз, одними и теми же словами. — Туристы спрашивают Контарини, а ты сидишь в своём сарае и чертишь какие-то бумажки. Что мне им сказать? Что мой сын не гондольер, а сумасшедший?

Марко промолчал. Он давно перестал спорить. Отец не понимал — и не мог понять, — что гондола для Марко не священная традиция, а всего лишь форма. Элегантная, древняя, но примитивная форма, скользящая по воде. А вода — вот что было священным. Вода и то, как форма взаимодействует с ней.

«Сараем» отец называл старый лодочный ангар на Джудекке, который Марко арендовал за гроши у старого рыбака. Там, в полумраке, пропахшем солью и деревом, стояло его сокровище. Не гондола, нет. Гондол у семьи было шесть, и все они были пришвартованы у причала. В сарае стояла его собственная лодка — странный гибрид гоночного скифа и рыбацкой плоскодонки, сконструированный по его чертежам. У неё был несимметричный корпус, как у гондолы, но обводы были другими — острее, стремительнее, рассчитанными не на медленное скольжение по каналам, а на скорость в открытой воде.

Марко построил её сам, потратив два года и все сбережения. Он не был инженером, он не учился в университете — только средняя школа и четыреста лет семейной истории за спиной. Но у него было то, чего нет ни в одном учебнике. Он *чувствовал*, как вода обтекает киль. Он мог провести ладонью по борту и сказать, где сопротивление слишком велико, а где корпус режет воду как нож. Это было не знание — это был инстинкт. Древний, как сама лагуна.

В углу сарая стоял старый ноутбук — единственная современная вещь во всём помещении. Марко купил его с рук три года назад и с тех пор погрузился в мир, о котором его предки не имели понятия. Вычислительная гидродинамика. Уравнения Навье-Стокса. Числа Рейнольдса. Ламинарные и турбулентные потоки. Всё это он изучал по ночам, на ломаном английском, продираясь сквозь научные статьи и видео на YouTube. Он не понимал половины формул, но они ложились на его интуицию, как ноты на слух музыканта.

Его мечта была проста и безумна одновременно: построить корабль, который изменит всё. Не гондолу, не рыбацкую лодку, а настоящий корабль — быстрый, маневренный, способный обогнать любой парусник в лагуне. Он не знал ещё, что эта мечта называется «глиссер». И что до её реализации осталось двести лет — или одна хронологическая сингулярность.

Телефон запищал. Сообщение от сестры: «Папа в ярости. Ты обещал быть на обеде. Сегодня приезжает дядя Карло из Местре. Не позорься».

Марко выключил ноутбук, натянул свитер и вышел из сарая. Джудекка тонула в зимних сумерках. Фонари отражались в воде длинными маслянистыми полосами. Где-то вдалеке, у Сан-Марко, туристы всё ещё кормили голубей — он слышал их смех и хлопанье крыльев. А здесь, на краю острова, было тихо, только вода плескалась о сваи.

Он остановился на мостках и посмотрел на лагуну. Вода сегодня была серо-зелёной, с лёгкой рябью от южного ветра. Барометр падал — значит, завтра будет шторм. Марко знал это без всяких приборов, просто чувствовал давление воздуха на барабанные перепонки.

— Ты странный, Марко, — сказал он себе вслух. — Все Контарини были нормальными. Почему ты такой?

Ответа не было. Только чайка прокричала что-то в темноте, и вода ответила ей глухим плеском.

Венеция, 24 часа спустя

Когда это случилось, Марко был на воде.

Он не собирался выходить в лагуну в этот час — небо с утра хмурилось, и его барометрическое предчувствие оправдалось: к полудню разыгрался ветер, гнавший с Адриатики высокую волну. Но отец с утра устроил очередной скандал — на этот раз из-за отказа Марко участвовать в регате, — и нужно было куда-то уйти. Куда-то, где нет криков, упрёков и разочарованных взглядов.

Он взял свою лодку и вышел в канал делла Джудекка.

Лодка шла хорошо. Новый корпус резал волну мягко, без ударов, оставляя за кормой ровный пенный след. Марко грёб не спеша, наслаждаясь тем, как дерево отвечает на каждое движение воды, как весло погружается в зелёную толщу и выходит с тихим, влажным звуком. Это был его мир. Единственный, где он был собой.

А потом свет изменился.

Небо над лагуной, серое и рваное, вдруг налилось янтарём — густым, почти осязаемым, как старая глазурь на муранском стекле. Ветер стих мгновенно, словно кто-то выключил его рубильником. Волны опали, и вода вокруг стала гладкой, как зеркало.

Марко перестал грести и замер. Весло застыло в уключине. Тишина, наступившая вслед за ветром, была неестественной — такой тишины не бывает в лагуне. Всегда что-то плещет, кричит, свистит, гудит моторами. А сейчас — ничего.

Он опустил руку в воду. Вода была тёплой. Не такой, какой бывает в августе, а другой — более тяжёлой, более плотной, с иным минеральным вкусом. Марко попробовал каплю на язык и нахмурился. Это была не лагунная вода. Слишком чистая. Слишком солёная. Такой воды здесь не было никогда — по крайней мере, не в его время.

Он поднял голову и осмотрелся.

И обмер.

Венеция была на месте — и в то же время это была не его Венеция. Набережная делла Джудекка, знакомая до каждого камня, выглядела иначе. Меньше домов. Меньше причалов. Церковь Сан-Джорджо Маджоре стояла на своём месте, но без привычного купола — вместо него над островом поднималась какая-то временная кровля, деревянная, тёмная от сырости.

И не было туристов. Ни одного. Вообще ни души на набережной — только какие-то фигуры в длинных плащах у дальнего пирса и рыбацкая шаланда, разгружающая корзины с серебристой рыбой.

Марко медленно, очень медленно опустил весло обратно в воду. Руки не дрожали. Сердце билось ровно. Может быть, он действительно сумасшедший, как говорит отец. Может быть, это сон. Может быть, переутомление. Но вода не лжёт. Вода всегда говорит правду. И вода сейчас говорила ему: ты не дома.

Он развернул лодку и направил её к незнакомой набережной. Весло входило в воду бесшумно, корпус скользил по глади, оставляя за собой расходящийся клин ряби. Никто не окликнул его. Никто не остановил. Только когда он причалил к каменным ступеням и набросил швартов на ржавое кольцо в стене, к нему подошёл человек.

Старик. Рыбак, судя по одежде и запаху. Он смотрел на лодку Марко с нескрываемым изумлением — так смотрят на диковинного зверя, выползшего из моря.

— *Che barca è questa?* — спросил старик хрипло.

Марко хотел ответить, что это его лодка, но слова застряли в горле. Потому что итальянский старика был странным — неправильным, архаичным, с окончаниями, которые Марко слышал только на лекциях по истории языка. И одежда была неправильной. И запах. И свет. И всё.

— Моя, — ответил он наконец. — Я сам построил.

Старик покачал головой и перекрестился.

— *Dio mio*, — прошептал он. — Откуда ты, парень?

И Марко, стоя одной ногой в своей лодке, а другой на камне чужой набережной, понял, что не знает ответа на этот вопрос.

Глава 5. Мадрид. Игрок

24 часа до Инцидента

Диего Альварес не верил в удачу. Он верил в вероятность.

Удача была для дураков — для тех, кто ставил на красное, потому что «красное — цвет любви», или на седьмой номер, потому что «семь — счастливое число». Диего ничего не ставил на чувства. Он считал. Всегда. Везде. С той самой минуты, как просыпался, и до того момента, как проваливался в сон.

Вот и сейчас, сидя за покерным столом в задней комнате бара «Эль Гран Габан» на окраине Мадрида, он считал. Восемь игроков. Трое выбыли до флопа. У одного — судя по тому, как он постукивает пальцем по картам, — не больше пары десятков. У толстяка в углу нервный тик левого века: он блефует, но сам боится своего блефа. Диего видел всё это и раскладывал по ячейкам: вероятность, риск, потенциальный выигрыш.

— Повышаю, — сказал толстяк и подвинул в центр стола стопку фишек. Голос дрогнул на полтона вверх. Веко дёрнулось дважды. Диего мысленно поставил галочку: блеф подтверждён.

— Колл, — сказал он спокойно и выложил свои карты.

Через три минуты он вышел из бара с двумя тысячами евро в кармане. Толстяк остался внутри — пить, ругаться и обещать, что в следующий раз обязательно отыграется. Следующего раза не будет. Диего знал это так же точно, как то, что дважды два — четыре. Толстяк проиграет снова, потому что он не учится. Потому что он верит в удачу.

Диего ни во что не верил. Кроме математики.

Ему было тридцать. Высокий, сухощавый, с тёмными глазами, которые никогда не смотрели на собеседника прямо — они всегда были заняты сканированием, анализом, просчётом. В детстве врачи подозревали аутизм, но тесты показали другое: у мальчика была аномально высокая способность к распознаванию закономерностей. Он видел закономерности там, где другие видели хаос. В разбросанных кубиках, в облаках, в цифрах на номерных знаках проезжающих машин. Однажды, в шесть лет, он за минуту перемножил в уме два четырёхзначных числа, и отец, банковский клерк, понял: из парня выйдет толк.

Вышел. Но не тот, которого ждали.

Диего бросил факультет математики в Мадридском университете Комплутенсе на третьем курсе. Не потому, что было трудно — наоборот, было слишком легко. Лекции казались ему медленными, задачи — примитивными, а профессора — людьми, которые знают математику, но не чувствуют её. Диего не просто знал. Он чувствовал. Теория вероятностей была для него не разделом учебника, а способом существования. Комбинаторика — родным языком. Теория игр — инструкцией по выживанию.

Он ушёл из университета и стал играть. Сначала в покер, потом во всё, где можно было применить расчёт. Биржевые опционы, спортивные ставки, даже политические прогнозы на подпольных букмекерских сайтах. Везде, где была неопределённость, он находил систему. Везде, где люди видели хаос, он видел структуру. Это был его дар. И его проклятие.

— Ты опять играл, — сказала сестра, когда он вернулся домой.

Лусия была младше его на четыре года и заменяла ему мать с тех пор, как их родители погибли в автокатастрофе. Диего было тогда восемнадцать, Лусии — четырнадцать. Он вырастил её на выигрыши. Оплатил школу, потом колледж, потом первую машину. Лусия знала, откуда деньги, и ненавидела это. Она хотела, чтобы брат был «нормальным» — ходил на работу, платил налоги, не оглядывался через плечо, выходя из бара.

— Я не играл, — ответил Диего. — Я работал.

— Это не работа. Это... ты сам знаешь что.

Он не стал спорить. Прошёл в свою комнату, закрыл дверь и сел за компьютер. На экране мигали графики — биржевые котировки, индексы, фьючерсы. Диего пробежал по ним глазами, выхватил три аномалии, сделал пометки. Завтра нужно будет выставить ордера. Риск — 3,7%. Приемлемо.

Потом он открыл другую программу. Эту он написал сам — простенький симулятор, моделирующий распространение информации в замкнутой системе. Ему было интересно: как распространяются слухи? Как вера? Как знание? Можно ли просчитать путь идеи так же, как траекторию бильярдного шара? Оказывается, можно. И результаты, которые он получал, говорили о том, что человечество — это не разумный организм, а жидкость. Оно течёт по пути наименьшего сопротивления, заполняет пустоты, обтекает препятствия. И управлять им можно, если знать гидравлику толпы.

Эта мысль пугала его. Но и завораживала.

Он закрыл программу и лёг в кровать, глядя в потолок. За окнами Мадрид гудел вечерней жизнью — смех, музыка, клаксоны такси. Диего слушал этот шум и невольно раскладывал его на составляющие: частота гудков — 400 герц, ритм уличного барабана — синкопированный, 120 ударов в минуту, смех женщины — ми-бемоль второй октавы. Всё можно было измерить. Всё можно было просчитать. Кроме одного.

Что будет завтра. Этого не знал никто.

Мадрид, 24 часа спустя

Когда это случилось, Диего был на площади Майор.

Он сидел на каменной скамье у аркады, пил кофе из бумажного стаканчика и наблюдал за толпой. Это было его хобби — читать людей, как книгу. Вон тот мужчина в сером пальто — бухгалтер, у него шаг ровный, размеренный, он никуда не спешит, потому что жизнь его расписана по минутам. Вон та женщина с ребёнком — нервничает, оглядывается, ждёт кого-то, вероятность опоздания этого кого-то — 78%. Вон группа туристов из Японии — их гид говорит на трёх языках, переключаясь между ними с беглостью, которая выдаёт лингвистическое образование.

Диего не просто смотрел. Он моделировал. Площадь была системой, толпа — потоком, каждый человек — частицей с заданными параметрами. Если бы ему дали доступ к городским камерам, он мог бы предсказать, где этот поток загустеет через час. Где возникнет пробка. Где случится давка. Но никто не давал ему доступа. Никому не нужны были его таланты. Кроме покерных игроков в «Эль Гран Габан».

А потом поток остановился.

Люди на площади замерли — не все сразу, а как будто волной, расходящейся от центра. Диего моргнул, ожидая, что это иллюзия, обман зрения. Но нет. Толпа действительно остановилась. Люди стояли, замерев в неестественных позах — кто-то с поднятой для шага ногой, кто-то с открытым ртом, кто-то с протянутой рукой. Тишина накрыла площадь, как стеклянный колпак.

Диего встал. Бумажный стаканчик выпал из его руки и застыл в воздухе, не долетев до земли. Кофе, пролившийся через край, висел коричневыми каплями, которые отказывались падать.

— Что за... — начал он, но собственный голос прозвучал глухо, как сквозь вату.

А потом мир мигнул. И площадь изменилась.

Исчезли стеклянные двери кафе, в котором Диего покупал кофе. Исчезли неоновые вывески, рекламные щиты, пластиковые стулья летних веранд. Исчезли асфальт под ногами, фонарные столбы, урны. Вместо этого — брусчатка, мощённая крупным серым камнем, с пучками травы в стыках. Вместо кафе — каменный портал с тяжёлой деревянной дверью. Вместо

туристов — никого. Площадь была пуста, и только на балконе старинного здания, которого минуту назад здесь не было, висел выцветший герб с короной.

Диего медленно повернулся вокруг своей оси. Три раза. Как в алгоритме, проверяющем целостность данных. Данные не совпадали.

Он сел обратно на скамью. Скамья была на месте — старая, каменная, холодная. Значит, не всё изменилось. Значит, есть константы. Найди константы, отстройся от них — это было первое правило любой системы.

Вторая константа: он сам. Дышит. Мыслит. Помнит, кто он. Диего Альварес, 30 лет, Мадрид, Испания, 21-й век.

Третья константа: математика. Дважды два — всё ещё четыре. Вероятность выпадения орла — всё ещё 50%. Если это сон или галлюцинация, математика в ней должна сбоить. Он закрыл глаза, перемножил в уме 1729 на 38, потом взял квадратный корень из 144, потом вычислил факториал семи. Всё работало. Мозг функционировал нормально. Значит, это не галлюцинация.

Значит, это реальность.

Диего открыл глаза и впервые в жизни почувствовал то, что не мог просчитать. Не страх. Страх — это всего лишь выброс адреналина, биохимическая реакция на угрозу. Нет, это было другое. Это было чувство, что доска перевернулась. Что фигуры, которые он расставлял всю жизнь, смахнули одним движением. И теперь нужно играть заново. По правилам, которых он не знает.

Он встал, поправил воротник куртки и медленно пошёл через пустую площадь. Под ногами скрипела брусчатка — не та, что в XXI веке, а настоящая, неровная, стёртая тысячами ног. В воздухе пахло лошадьми, дымом и свежим хлебом. Где-то вдалеке звонил колокол — низкий, густой звук, который тоже можно было измерить. Частота — 150 герц, затухание — медленное, значит, воздух влажный, возможно, близость реки.

В конце площади показалась фигура. Человек в длинном плаще, с алебардой в руке. Стражник. Настоящий, не ряженный. Он двигался медленно, но целенаправленно — в сторону Диего.

Диего остановился и поднял руки — открытые ладони вперёд, универсальный жест мира. Он не знал, какой сейчас год, какой век, какая страна. Но он знал, что первое впечатление — это тоже игра. И эту игру он проигрывать не собирался.

— Buenas tardes, — сказал он спокойно. — Кажется, я заблудился.

Стражник не ответил. Он смотрел на Диего так, как смотрят на призрак.

Глава 6. Петля Коперника

ЦЕРН, Европейская организация по ядерным исследованиям, Женева, Швейцария.

Главный центр управления экспериментом ALICE. 14:47 по центральноевропейскому времени.

Доктор Хелена Виссер не верила в предчувствия. Она верила в статистическую значимость, сигму отклонений и критерии согласия. Двадцать три года в физике высоких энергий вытравили из неё всё иррациональное, как жёсткое излучение вытрапливает клетки опухоли. Именно поэтому странное беспокойство, которое она испытывала последние полчаса, не имело под собой никакой рациональной основы — и именно поэтому оно её так сильно тревожило.

— Все системы в норме, — произнёс сидящий справа оператор, молодой итальянец с фамилией, которую Хелена никак не могла запомнить. — Детекторы калиброваны. Магниты на проектной мощности. Энергия пучка стабильна.

Хелена кивнула, не отрывая взгляда от главного монитора. Цифры были безупречны. Графики лежали ровно, без всплесков и шумов. Ускорительный комплекс работал как швейцарские часы — что, в общем-то, и ожидалось от установки стоимостью в несколько миллиардов франков, расположенной в центре Европы.

И всё же что-то было не так.

Возможно, дело было в самом эксперименте. Они шли на рекорд. Никогда ещё ядра свинца не сталкивались с такой энергией: 5,36 ТэВ на нуклонную пару. Температура в точке столкновения должна была достичь значений, которые Вселенная не видела с первой микросекунды после Большого взрыва. Кварк-глюонная плазма — первобытный суп, из которого родилось всё вещество, — должна была возникнуть на мгновение в центре детектора ALICE, чтобы затем исчезнуть, оставив после себя лишь треки частиц в калориметрах и черепках мюонных камер.

Теория предсказывала многое. Но теория не предсказывала темпоральных кварков.

— Доктор Виссер, — раздался голос из интеркома. Это был главный теоретик группы, профессор Мишель Бержерон, франкоканадец с вечно взъерошенной седой шевелюрой. Он говорил из соседнего зала, где физики-теоретики сидели за своими ноутбуками, словно оракулы, ожидающие знамений. — Я отправил вам последнюю модель. Взгляните на четвёртую страницу.

Хелена открыла документ. Формулы, графики, диаграммы Фейнмана. Она пробежала глазами по строчкам, выхватывая ключевые термины: «хрональное поле», «нарушение Т-симметрии», «резонансный каскад t-кварков». Последнее было подчёркнуто красным. И рядом — примечание от руки: «Если модель верна, возможна макроскопическая проекция».

— Мишель, — произнесла она медленно, — что значит «макроскопическая проекция»?

На том конце линии повисла пауза. Потом Бержерон кашлянул — так, как кашляют люди, которым предстоит сообщить неприятную новость.

— Это значит, что, если в момент столкновения возникнет когерентное состояние t-кварков, они могут... э-э-э... проявиться не только в детекторе. Теоретически возможно образование хрональной сингулярности диаметром до нескольких метров. Которая, в свою очередь, может испустить пять параллельных пространственно-временных лучей. Паттерн выброса напоминает пентаграмму — это свойство многообразия Калуцы-Клейна, на котором...

— Мишель, — перебила Хелена, чувствуя, как беспокойство, дремавшее где-то в глубине сознания, вдруг встало на ноги и потянулось, разминая затёкшие члены. — Вы хотите сказать, что мы можем открыть портал?

— Не портал. Луч. Пять лучей. И не «можем открыть», а «существует ненулевая вероятность». Очень небольшая. Предельно небольшая. Одна миллиардная доля процента. Погрешность вычислений.

Хелена перевела взгляд на часы. До запуска оставалось три минуты.

— Почему вы не сказали об этом раньше?

— Потому что я закончил расчёты час назад. И потому что вероятность действительно исчезающе мала. Теоретически мы можем наблюдать незначительные флуктуации в детекторах, но ничего макроскопического. Это гипотетическая возможность. Чистая теория.

Хелена закрыла глаза. Чистая теория. Ис исчезающе малая вероятность. Она работала в ЦЕРНе достаточно долго, чтобы знать: самые страшные катастрофы начинались именно с этих слов. Но она также знала, что останавливать эксперимент сейчас, за три минуты до старта, без веских оснований — это профессиональное самоубийство. Комиссия не примет в качестве аргумента «предчувствие» или «гипотетическую модель Бержерона».

— Продолжаем, — сказала она. — Но усильте мониторинг по всем каналам. Если увидите хоть что-то нештатное — докладывайте немедленно.

Операторы загудели подтверждениями. На главном экране побежали последние предстартовые проверки: вакуум в норме, криогеника в норме, система безопасности активирована. Пучки ядер свинца, разогнанные до 0,999999 скорости света, неслись навстречу друг другу в двадцатисемикилометровом кольце БАКа, чтобы через две минуты столкнуться в сердце детектора ALICE.

Хелена обхватила себя руками за плечи и впиалась взглядом в монитор. Ей вдруг пришло в голову странное сравнение. Они были похожи на древних жрецов, которые зажигают ритуальный огонь, не до конца понимая, что именно может выйти из пламени. Вся эта сталь, весь этот бетон, все эти миллиарды франков — и всё ради того, чтобы на одну триллионную долю секунды воссоздать состояние первозданного хаоса.

Зачем? Ради знания. Только ради знания.

— Одна минута, — объявил оператор.

— Поняла. Продолжаем.

Точка столкновения. Детектор ALICE. 14:52 по центральноевропейскому времени.

Два пучка ядер свинца встретились в точке с координатами, известными до тысячных долей миллиметра.

В первое мгновение не произошло ничего. Просто две группы нуклонов прошли сквозь друг друга, как призраки, — слишком быстрые, чтобы заметить препятствие. Но затем, в нескольких десятках столкновений из миллиардов, случилось то, ради чего всё затевалось: кинетическая энергия превратилась в материю.

На кратчайший миг — столь краткий, что само понятие «миг» казалось в сравнении с ним вечностью, — в точке столкновения возникла капля кварк-глюонной плазмы. Температура: пять триллионов градусов. Плотность: в сто раз выше плотности атомного ядра. Это была материя в её первозданном, диком, дозвёздном состоянии — горячая, кипящая, не знающая ещё ни протонов, ни нейтронов, ни атомов. Только кварки и глюоны, танцующие свой бесконечный танец.

И среди них — то, чего никто не ожидал.

Позже, анализируя данные, физики назовут их темпоральными кварками. Третье поколение, сверхтяжёлые, с временем жизни порядка 10^{-24} секунды. Они возникали парами — t -кварк и t -антикварк — и должны были аннигилировать мгновенно, как и положено всем виртуальным частицам.

Но один из них не аннигилировал.

Почему — осталось загадкой. Возможно, сыграла роль беспрецедентная энергия столкновения. Возможно — локальная флуктуация хронального поля. Возможно — квантовая неопределённость, та самая, что позволяет частице проходить сквозь стену и кошке быть одновременно живой и мёртвой. Так или иначе, один t-кварк выжил. И, выжив, запустил цепную реакцию.

Он вошёл в резонанс с соседними кварками. Те — со следующими. За время, которое человеческий разум не способен осмыслить, в сердце детектора ALICE возникло когерентное состояние — хрональная сингулярность, точка, в которой время перестало быть прямой линией и свернулось в клубок.

А затем эта точка взорвалась. Не в пространстве — во времени.

Пять лучей чистой хрональной энергии вырвались из сингулярности и устремились прочь, игнорируя сталь, бетон, магнитные поля и свинцовую защиту. Они двигались не сквозь вещество, а сквозь саму ткань пространства-времени, прошивая планету насквозь по линиям, образующим идеальную пентаграмму. Эпицентр — точка столкновения в детекторе ALICE. Вершины — пять точек на поверхности Земли, удалённые друг от друга на тысячи километров.

Один луч ушёл на северо-восток, в сторону Восточно-Европейской равнины. Точка выхода: Ингерманландия, окрестности строящегося Санкт-Петербурга. Время выхода: январь 1710 года.

Второй луч ушёл на северо-запад, в сторону Бранденбурга. Точка выхода: пригород Берлина. Время выхода: январь 1710 года.

Третий луч ушёл на запад, в сторону Британских островов. Точка выхода: Лондон, мост Ватерлоо. Время выхода: январь 1710 года.

Четвёртый луч ушёл на юг, в сторону Апеннинского полуострова. Точка выхода: Венецианская лагуна. Время выхода: январь 1710 года.

Пятый луч ушёл на юго-запад, в сторону Пиренейского полуострова. Точка выхода: Мадрид, площадь Майор. Время выхода: январь 1710 года.

Каждый луч искал цель. Не случайную — цель, резонирующую с его хрональной частотой. Человека, чья нейронная активность совпадала с особенностями луча. Человека, чей разум был настроен на ту же волну, что и далёкая эпоха, в которую уходил луч.

В Москве Дмитрий Хворостов заглушил двигатель и потянулся к бутылке с квасом.

В пригороде Берлина Ганс Вагнер стоял на коленях в поле и закапывал в лунки пророщенные семена фасоли.

В Лондоне Томас Блэквуд стоял на мосту Ватерлоо, облокотившись на перила, и смотрел на свинцовую воду Темзы.

В Венеции Марко Контарини грёб против ветра, направляя свою странную лодку к каналу делла Джудекка.

В Мадриде Диего Альварес сидел на каменной скамье у аркады, пил кофе из бумажного стаканчика и наблюдал за толпой на площади Майор.

Их было пятеро. Обычных людей. Инженер, фермер, музыкант, лодочник, игрок. Никто из них не знал друг друга. Никто из них не подозревал, что через несколько минут их жизнь закончится — и начнётся заново. За триста лет до их рождения.

Лучи нашли свои цели. Время схлопнулось. И пятеро обычных людей исчезли из двадцать первого века.

Центр управления экспериментом ALICE. 14:53 по центральноевропейскому времени.

— Потеря данных! — крикнул оператор. — Детектор А показал всплеск и отключился!

— Детектор Б — то же самое!

— Мюонные камеры — перегрузка по всем каналам!

Хелена Виссер стояла посреди этого хаоса, вцепившись в спинку кресла, и смотрела на главный монитор. Там, где должны были отображаться треки частиц, расходилась странная, пульсирующая фигура. Пять лучей, соединённых в центре. Идеальная пентаграмма.

Она видела её всего секунду. Потом экран погас.

— Что это было? — прошептал кто-то из операторов.

Хелена не ответила. Она смотрела на чёрный экран и думала о Мишеле Бержероне, о его расчётах, о фразе «макроскопическая проекция». Одна миллиардная доля процента. Погрешность вычислений.

— Свяжите меня с Бержероном, — сказала она. — Срочно.

Но Бержерон не отвечал. Его телефон звонил в пустоту.

А в пяти точках Европы, отделённых друг от друга столетиями, пятеро человек приходили в себя среди снега, воды, камня и тишины. И никто из них ещё не знал, что время, которое они прожили, было лишь прелюдией. Настоящая история начиналась сейчас.

Глава 7. Тишина после удара

Дмитрий стоял по колено в снегу и слушал тишину. Это была неправильная тишина — не та, к которой он привык за сорок три года жизни в Москве. В его мире тишина никогда не была абсолютной. Всегда что-то присутствовало: гул отопления в трубах, далёкий лай собаки, шум лифта в шахте, приглушённый бас проезжающего грузовика. Тишина XXI века была соткана из тысячи едва слышных шумов, как дорогой ковёр из тысячи нитей. Здесь же не было ничего. Ни единой нити. Голая, первозданная, звенящая пустота, в которой его собственное дыхание звучало как кузнечные мехи.

Первой связной мыслью — после того, как мозг закончил автоматический анализ температуры, влажности и расстояния до источника дыма, — была мысль о семье. Дмитрий увидел их так ясно, словно они стояли перед ним: Ольга в своём синем халате, который она носила до дыр и отказывалась выбрасывать; Катя, старшая, с вечно нахмуренными бровями подростка, который точно знает, что мир устроен неправильно; Лиза, младшая, с её дурацкой привычкой показывать язык, когда она сосредоточена. Они сейчас дома. Ждут его с квасом. Жаркое в духовке. Ольга, наверное, уже начинает беспокоиться — он должен был быть полчаса назад.

И тут его накрыло.

Не страх. Страх — это когда знаешь, чего боишься. А здесь было нечто другое — чудовищное, всепоглощающее осознание того, что *он не знает*. Не знает, где находится. Не знает, какое сегодня число. Не знает, существует ли ещё Москва, Россия, его дом, его семья, вся его жизнь. Вся система координат, в которой он существовал, исчезла в один момент, и Дмитрий Хворостов, человек, который всегда и во всём искал причину и следствие, впервые в жизни оказался перед задачей, у которой не было исходных данных.

Он опустился на корточки, прислонившись спиной к холодному боку машины. Металл был ледяным — аккумулятор почти сел, и фары светили уже не белым, а желтоватым, предсмертным светом. Ещё полчаса, максимум сорок минут — и тьма станет абсолютной. В лесу. Зимой. Без связи, без еды, без понимания происходящего.

— Так, — сказал он вслух. Звук собственного голоса помог. — Давай по порядку.

Это было его универсальное правило: когда реальность превращается в хаос, начинай с того, что знаешь точно. Факты. Только факты.

Факт первый. Я нахожусь в лесу. Хвойный лес с примесью берёзы, климатическая зона — умеренная, вероятно, северо-запад Восточно-Европейской равнины. Снежный покров — около сорока сантиметров, что соответствует январю-февралю.

Факт второй. Моя машина заглохла. Электроника вышла из строя. Причина неизвестна. Аккумулятор разряжается. Телефон не работает.

Факт третий. Я не знаю, как я здесь оказался. Последнее, что я помню, — пробка на Третьем транспортном, репортаж из ЦЕРНа, поворот на Пролетарскую. Затем — навигатор погас, двигатель заглох, тишина. Никаких следов аварии, столкновения, взрыва. Никаких признаков воздействия извне.

Факт четвёртый. Пахнет дымом. Где-то на северо-северо-востоке, не дальше трёх километров, есть источник открытого огня. Там могут быть люди.

Он выдохнул, и пар повис в морозном воздухе белым облаком. Четыре факта. Больше он не знал ничего. Но и этого было достаточно, чтобы начать действовать.

Дмитрий открыл заднюю дверь машины и залез внутрь. Первым делом — тепло. В багажнике лежал старый шерстяной плед, который Ольга возила с собой на случай пикников. Он достал его и накинул на плечи. Затем — инструменты. Чемодан был на месте. Он открыл его и пробежал глазами по содержимому: мультиметр, набор отвёрток, пассатижи, изолената,

клеммы, медный провод, портативный паяльник с газовым баллончиком, нож, фонарик. Фонарик работал. Это было хорошо. Очень хорошо.

Отдельно — бутылка с квасом. Три литра. Питьевая вода. Вернее, питьевой квас. Тоже годится. На какое-то время хватит.

Он переложил фонарик и нож в карманы куртки, паяльник с баллончиком — во внутренний карман (источник огня, пригодится), плед обмотал вокруг шеи как импровизированный шарф. Остальное оставил в машине. Тащить с собой двадцать килограммов инструментов через лес по колено в снегу было бессмысленно. Если удастся найти людей, можно будет вернуться. Если нет — инструменты ему уже не понадобятся. Эта мысль пришла спокойно, без надрыва. Просто расчёт. Просто факт.

Он вышел из машины, захлопнул дверь и в последний раз посмотрел на белый корпус Ford Explorer. Машина стояла посреди заснеженной поляны, уткнувшись капотом в молодой ельник, и выглядела до абсурда чуждой этому месту. Словно космический корабль, по ошибке приземлившийся в ледниковом периоде. Дмитрий провёл ладонью по капоту — прощальный жест, в который он сам не вложил бы смысла, если бы кто-то спросил, — и повернулся лицом к лесу.

Ветер был южный, слабый, едва ощутимый. Дым, который он учуял раньше, всё ещё тянулся откуда-то с севера. Дмитрий прикинул направление по звёздам — небо было ясным, и Полярная звезда висела точно там, где ей и положено, — и двинулся на северо-северо-восток, проваливаясь в снег почти до бедра при каждом шаге.

Идти было тяжело. Через сто метров он взмок, через двести — начал задыхаться, через триста — остановился и заставил себя дышать ровно, носом, как учил когда-то инструктор по туризму в студенческом походе. «В лесу главное — не скорость, а ритм. Найдёшь ритм — дойдёшь. Потеряешь — ляжешь и замёрзнешь». Дмитрий нашёл ритм и продолжал идти. Шаг. Выдох. Шаг. Выдох. Хруст снега под ботинками. Треск веток, которые он задевал плечом. Собственное сердце, бухающее где-то в висках.

Лес был старым. Очень старым. Дмитрий замечал это по толщине стволов, по высоте крон, по полному отсутствию следов лесозаготовок. Он не видел ни одного пня со спиленным стволом. Ни одной зарубки от топора. Ни одного следа человека. Только звериные тропы, протоптанные в снегу, да редкие следы птиц, перелетавших с ветки на ветку. Это было странно. В Подмосковье не осталось таких лесов — всё было изрезано просеками, дорогами, линиями электропередач, дачными посёлками. А здесь — ничего. Дикая, нетронутая чаща, какую он видел только в фильмах про Древнюю Русь.

Мысль о Древней Руси мелькнула где-то на периферии сознания и пропала. Дмитрий не дал ей хода. Рано. Сначала — люди. Сначала — огонь. Анализировать и осмысливать будем потом.

Он шёл уже около часа, когда лес начал редеть. Сначала исчез подлесок, потом деревья стали ниже, между ними появились просветы. А потом Дмитрий вышел на край оврага и увидел внизу, на дне замёрзшего ручья, первый признак человеческого жилья. Это была баня. Маленькая, приземистая, срубленная из потемневших от времени брёвен, с покосившейся трубой, из которой поднимался в морозное небо жидкий, дрожащий дымок. Рядом — поленница дров, накрытая еловым лапником. И тропинка, протоптанная в снегу, уходящая дальше в лес.

У Дмитрия подкосились ноги. Он сел прямо в снег и несколько минут просто сидел, глядя на этот дым, на эту баню, на эту тропинку. Баня была неправильная. Не такая, какие строят в современных посёлках — из оцилиндрованного бруса, с панорамными окнами и черепичной крышей. Нет, эта была старой, примитивной, с крошечным оконцем, затянутым бычьим пузырём вместо стекла. И тропинка была неправильная — не расчищенная снегоуборщиком, а утоптанная ногами, узкая, петляющая.

Но это были люди. Живые люди. И сейчас это было единственное, что имело значение.

Дмитрий поднялся и пошёл по тропинке. Она вела через невысокий холм, поросший голыми берёзами, и заканчивалась у небольшой деревни. Семь дворов. Может, восемь. Избы были приземистыми, крытыми соломой и дранкой, с высокими крылечками и резными наличниками на окнах. Кое-где горел свет — не электрический, а живой, дрожащий, жёлтый. Лучина. Или свеча. Или масляный светильник.

И тогда Дмитрий остановился, потому что до него наконец дошло.

Это не Подмосковье. Это не его время. То, о чём он запрещал себе думать весь этот час, пока пробирался через лес, внезапно встало перед ним с неотвратимостью математической теоремы. Машина заглохла не из-за поломки. Он переместился. Каким-то непостижимым образом он оказался в прошлом. В России. Судя по архитектуре, по отсутствию стекла, по полному отсутствию электричества — очень далеко в прошлом. На век, на два, на три. И теперь его жена, его дочери, его дом, его жизнь — всего этого не существует. Не в том смысле, что он далеко от них. В том смысле, что они ещё не родились. Не родятся. Может быть, никогда.

Он стоял на краю деревни, под старой берёзой, и смотрел на огоньки в окнах. Из ближайшей избы доносились голоса — неразборчивые, приглушённые толстыми стенами. Где-то залаяла собака. Скрипнула дверь, и на крыльцо вышел человек в длинном тулупе, постоял, глядя на звёзды, и вернулся обратно.

Дмитрий не плакал. Он почти никогда не плакал — его слёзные железы, казалось, были заменены на микросхемы ещё в детстве, когда он впервые разобрал будильник и собрал его обратно, а отец вместо наказания купил ему набор юного радиолюбителя. Но сейчас, глядя на этот чужой мир, на эти чужие звёзды, на этот чужой дым, поднимающийся из чужой трубы, он почувствовал то, чего не испытывал никогда раньше. Абсолютное, кристально чистое одиночество. Одиночество человека, который оказался единственным носителем памяти о мире, которого больше нет.

Он простоял так минуту. Может, две. Потом глубоко вздохнул, расправил плечи и пошёл в деревню.

— Разберёмся, — сказал он себе под нос. — По порядку. Факты. Решения.

И постучал в первую дверь.

Глава 8. Огонь из пальцев

Дверь открылась не сразу. Сначала за ней послышался шорох, приглушённый грузный шаг, затем низкий мужской голос что-то неразборчиво произнёс — не вопрос, а скорее утверждение, адресованное кому-то внутри. Дмитрий не разобрал слов, но интонация была явно настороженной. Потом звякнула щеколда, и дверь приоткрылась на ширину ладони.

В проёме показалось лицо. Мужчина лет пятидесяти, с окладистой седой бородой, густыми бровями и глазами, которые смотрели на Дмитрия без страха, но с тем особым, цепким вниманием, какое бывает у людей, привыкших доверять не словам, а чутью. Одет он был в длинную рубаху из грубого серого полотна, поверх которой был накинут овчинный жилет, явно очень старый, но добротный.

Несколько мгновений они просто смотрели друг на друга. Дмитрий — чужак в странной одежде, с неестественно гладким лицом (он брился сегодня утром, и эта мысль вдруг показалась ему абсурдной до смешного). Мужик — человек из другого мира, из другого времени, с лицом, иссечённым морщинами, как старая кора. Дмитрий вдруг остро осознал, как он должен выглядеть со стороны: куртка-пуховик ярко-синего цвета с непонятными светоотражающими полосами, ботинки на толстой синтетической подошве, никакой шапки — он так и не надел, и волосы сейчас стояли дыбом от мороза.

— Здравствуйте, — сказал Дмитрий.

Мужик моргнул. Слова были понятны — язык был тот же, русский, — но произношение явно резало ему слух. Слишком быстрое, слишком московское, с редуцированными гласными и проглатываемыми окончаниями. Человек в двери наклонил голову набок, как собака, услышавшая незнакомый звук, и ничего не ответил.

Дмитрий понял свою ошибку. Он говорил так, как говорил всю жизнь. Но этот человек не смотрел телевизор, не слушал радио, не сидел в интернете. Для него русский язык был не тем языком, на котором вещают дикторы и блогеры, а тем, на котором говорят здесь и сейчас, в этой деревне, в этой губернии, в этом веке. Нужно было говорить иначе. Медленнее. Чётче. Так, как, наверное, говорили его предки.

— Здрав-ствуй-те, — повторил он, старательно выговаривая каждый слог. — Я... заблудился. Мне нужна помощь.

Мужик перевёл взгляд с лица Дмитрия на его куртку, потом на ботинки, потом обратно на лицо. Видно было, что одежда вызывает у него куда больше вопросов, чем слова. Он прекрестился — быстро, машинально, как делают люди, встретившие нечто непонятное и потенциально опасное, — и отступил на шаг, приоткрывая дверь чуть шире.

— Откель ты такой? — спросил он. Голос был глухим, с хрипотцой, но не грубым. Скорее, озадаченным.

Хороший вопрос. Дмитрий ожидал его и успел продумать ответ, пока шёл через лес. Правду сказать было нельзя — по крайней мере, не сейчас и не так. «Я из будущего» прозвучало бы как бред сумасшедшего или, хуже того, как признание в колдовстве. А колдунов в России, насколько он помнил из школьного курса истории, жгли. Может, не прямо сейчас, но точно жгли.

— Из Москвы, — сказал он. Это была технически правда. — Ехал... на повозке. Сбил с пути. Лошадь пропала. Машина... телега сломалась.

Слово «машина» вырвалось раньше, чем он успел его остановить. Мужик нахмурился, но, кажется, не придавал значения — то ли не расслышал, то ли счёл странным московским словечком. Москва в его представлении, наверное, была местом, где говорят и одеваются иначе.

— Московский, стало быть, — протянул он. — Издалеча ж тебя занесло.

— Издалеча, — согласился Дмитрий.

Они постояли ещё немного. Мужик, видимо, колебался. Пустить в дом незнакомого человека ночью — это всегда риск. Но и выгнать на мороз — грех. Дмитрий видел эту внутреннюю борьбу на его лице и решил добавить последний, самый весомый аргумент. Он полез в карман, медленно, чтобы не спровоцировать, и достал зажигалку.

— Можно погреться? — спросил он. — Я заплачу.

И щёлкнул колёсиком.

Вспыхнул огонь. Маленький, жёлтый язычок пламени вырос прямо из его пальцев — во всяком случае, так это должно было выглядеть со стороны. Мужик отшатнулся, едва не перекрестившись снова. В его глазах мелькнул страх, но вместе с ним и жгучее, неудержимое любопытство.

— Это что ж такое? — прошептал он, глядя на зажигалку как на чудо.

— Искусство московское, — сказал Дмитрий и впервые за этот бесконечный вечер позволил себе слабую, едва заметную улыбку. — Пустите погреться — покажу.

Через минуту он уже сидел в избе.

Внутри было темно и дымно. Единственным источником света служила лучина, воткнутая в железный светец на стене, — тонкая щепка горела неровным, коптящим пламенем, отбрасывая на бревенчатые стены пляшущие тени. Пахло кислой капустой, печным дымом, сушёными травами, развешанными под потолком, и ещё чем-то, чему Дмитрий не знал названия — тяжёлым, примитивным запахом немытого человеческого тела, который в его времени был немыслим, а здесь, судя по всему, являлся нормой.

Изба была маленькой, но ладной. Русская печь занимала почти треть пространства — огромная, белёная известкой, с лежанкой наверху, с которой свешивался край овчинного тулупа. В углу, под иконами с тёмными ликами, стоял грубо сколоченный стол. У стены — лавка, на которой сидела женщина с двумя детьми, мальчиком и девочкой, и смотрела на Дмитрия круглыми, испуганными глазами. Дети жались к матери и молчали.

— Проходи, гостем будешь, — сказал хозяин, закрывая дверь и задвигая засов. — Жёнка моя, Агафья. Ребятишки — старшой Тихон, меньшая Настька. А я Тимофей, сын Прокопов. Кузнец мы.

Кузнец. Дмитрий мысленно поставил галочку. Уже легче. Кузнец — это человек, который работает с металлом, с огнём, с инструментами. С ним будет проще найти общий язык, чем с крестьянином-землепашцем. Кузнецы во все времена были технарями. Почти коллеги.

— Дмитрий, — представился он. — Хворостов. Сын Александров, — добавил он, вспомнив, что отчества здесь, кажется, в ходу.

Тимофей кивнул и жестом пригласил его к столу. Дмитрий сел на лавку, чувствуя, как нагретое дерево отдаёт тепло через ткань штанов. Хорошо. Тепло. Он вдруг осознал, насколько замёрз, — пальцы рук и ног начали отходить, и в них впились тысячи мелких иголок.

Агафья, не говоря ни слова, поставила перед ним глиняную миску с чем-то съедобным. Каша была горячей, густой, с кусочками сала и лука — простая крестьянская еда, от которой у Дмитрия, привыкшего к офисным обедам и домашним ужинам Ольги, сначала свело скулы. Но голод оказался сильнее, и он ел, чувствуя, как тепло разливается по телу. Тимофей сидел напротив и молча наблюдал за гостем, не притрагиваясь к своей миске. Агафья возилась у печи, дети затихли на полатах.

Дмитрий вдруг вспомнил про квас. Бутыль — три литра тёмного, нефilterованного, — всё ещё стояла у него в котомке. Он вытащил её и поставил на стол.

— Вот, — сказал он. — Утощайтесь. Это квас. У нас... у нас в Москве такой делают.

Тимофей с сомнением посмотрел на пластиковую бутылку. Такой посуды он никогда не видел — прозрачная, лёгкая, с непонятной крышкой. Дмитрий отвинтил пробку и налил немного в глиняную кружку, стоявшую на столе. Тёмная жидкость с лёгкой пеной пахла ржаным хлебом и чем-то ещё — сладковатым, незнакомым.

— Пробуйте.

Тимофей взял кружку, поднёс к губам и сделал осторожный глоток. Потом ещё один. Лицо его, до этого настороженное, вдруг разгладилось. Он отставил кружку и посмотрел на Дмитрия с новым выражением — не страха и не подозрения, а удивления, смешанного с чем-то похожим на уважение.

— Хорош, — сказал он. — Мягкий. Не такой, как наш. Наш кислее. А этот... сладкий будто. И хлебом пахнет. Московский, говоришь?

— Московский.

Агафья, осмелев, тоже подошла и отхлебнула из кружки мужа. Потом дала попробовать детям — Тихону и Настьке. Девочка, младшая, зажмурилась от удовольствия и облизнулась. Мальчик, старший, серьёзно кивнул, словно подтверждая: «Хорош».

— Не пойму только, — Тимофей покрутил в руках бутыль, разглядывая её на свет лучины, — из чего посуда? Не стекло. Не глина. Не береста. Лёгкая, как пёрышко.

— Это пластик, — ответил Дмитрий. Он понимал, что объяснить технологию производства пластика кузнецу из XVIII века невозможно, но и врать не хотелось. — Особый материал. У нас в Москве научились делать. Долго рассказывать.

Тимофей покачал головой и вернул бутыль на стол.

— Чудной ты человек, Дмитрий Александрович. Но квас добрый.

Дмитрий усмехнулся и плеснул ещё себе. Они сидели в полумраке, пили квас из будущего, заедали кашей из прошлого, и на какое-то время все тревоги отступили. Просто люди за одним столом. Просто еда и питьё. Просто мир, который ещё не знал, что такое электричество, но уже знал, что такое гостеприимство.

Тимофей смотрел на гостя, и в его взгляде читалась напряжённая работа мысли. Дмитрий знал этот взгляд. Так смотрят инженеры на незнакомый механизм — пытаются понять, как он устроен, где вход, где выход и не опасен ли он.

— Стало быть, московский, — повторил Тимофей. — А одежда на тебе... не московская. Не русская даже.

Дмитрий перестал жевать. Вот он, момент истины. Сейчас нужно быть очень осторожным.

— Заморская, — сказал он. — От немцев.

Это объяснение, кажется, удовлетворило Тимофея. Немцы в России были всегда — ещё со времён Ивана Грозного, а уж при Петре и подавно. Заморская одежда была странной, но не колдовской.

— А та штуковина, — Тимофей кивнул на карман, куда Дмитрий убрал зажигалку, — тоже немецкая?

— Своя, — сказал Дмитрий. — Я сам делаю.

Глаза Тимофея блеснули. Вот оно. Кузнец услышал слово «делаю» — и проснулся профессионалом.

— Сам? — переспросил он. — Из чего ж?

Дмитрий понял, что сел в лужу. Объяснять устройство зажигалки кузнецу из XVIII века — всё равно что объяснять квантовую механику ребёнку. Но отступать было поздно. Он снова достал зажигалку и положил её на стол.

— Вот, — сказал он. — Внутри — огниво, только не камень, а металл. Особый сплав. Даёт искру. А здесь, — он указал на колёсико, — кремь. Маленький. Крутишь — сыплется искра. А здесь жидкость горючая. Воспламеняется от искры и даёт огонь.

Тимофей взял зажигалку в руки — осторожно, как берут новорождённого котёнка. Повертел. Понюхал. Поднёс к глазам, пытаясь разглядеть устройство в скупом свете лучины. Он явно хотел понять, как это работает, но не мог — слишком чуждым, слишком далёким был этот предмет от всего, что он знал.

— Металл даёт искру, — повторил он задумчиво. — А что за металл?

— Сложный, — ответил Дмитрий. — Я могу показать, как сделать. Если захочешь.

Это был аванс. Предложение сотрудничества. И Тимофей его понял. Он медленно кивнул, возвращая зажигалку, и в его глазах Дмитрий увидел то, на что и надеялся: не страх, не враждебность, а жадный, живой интерес мастера, столкнувшегося с новой, неизвестной технологией.

— Завтра покажешь, — сказал Тимофей. — А сейчас спи. Утро вечера мудренее.

Он указал на печную лежанку. Дмитрий не заставил себя упрашивать. Он забрался на печь, зарылся в овчины, которые пахли дымом, шерстью и ещё чем-то, и закрыл глаза.

Сон не шёл. Несмотря на усталость, несмотря на тепло, несмотря на сытость, мозг продолжал работать, перебирая факты, как чётки. Деревня. Кузнец. Лучина вместо электричества. Зажигалка, принятая за чудо. Что он знает о России начала XVIII века? Пётр I. Северная война. Санкт-Петербург строится. Армия реформируется. Флот создаётся. Страна с дикой скоростью, с кровью и скрежетом, разворачивается на Запад. И где-то совсем рядом — может быть, в нескольких днях пути — государь всея Руси, который, если верить истории, обожал всё новое, всё техническое, всё заморское.

Завтра нужно будет расспросить Тимофея. Узнать, какой сейчас год. Кто на престоле. Далеко ли до Петербурга или до Москвы. А пока — спать. Сохранять силы. Думать.

Он заснул под утро, когда за оконцем, затянутым бычьим пузырьём, начало сереть небо. И ему приснилась Ольга. Она стояла на пороге их московской квартиры, в своём синем халате, и говорила: «Ты опять задерживаешься». А он отвечал: «Я скоро. Уже иду». И не мог сдвинуться с места.

Глава 9. Чужеземец под стражей

Проснулся Дмитрий от холода. Печь за ночь остыла, и теперь от неё тянуло не теплом, а сухим, едва уловимым тепловым дыханием угасающих углей. Овчины, в которые он закутался, сбились в ногах, и левое плечо, оказавшееся с краю, заledenело так, что он не сразу смог пошевелить рукой.

За оконцем, затянутым мутным пузырьём, брезжил серый зимний рассвет. Где-то за стеной мычала корова — низко, протяжно, требовательно. Ей ответил собачий лай, потом другой, третий, и вскоре вся деревня наполнилась утренним хором: скрип ворот, переключка петухов, глухие удары топора по мёрзлому дереву, женский голос, зовущий кого-то по имени.

Дмитрий сел на лежанке, спустил ноги и несколько минут просто сидел, привыкая к реальности. Реальность была всё та же: бревенчатые стены, прокопчённый потолок, пучки сушёных трав под потолочной балкой, запах кислой капусты и печного дыма. Вчерашний вечер не был сном. Он действительно находился в прошлом. В России. В начале XVIII века — если его предположения верны.

— Проснулся, московский гость? — раздался голос от двери.

Тимофей стоял, привалившись плечом к дверному косяку, и смотрел на Дмитрия всё с тем же цепким, оценивающим прищуром, что и вчера. Одет он был уже по-уличному: тулуп, валенки, меховая шапка. Видимо, уже успел выйти со двора и вернуться.

— Проснулся, — ответил Дмитрий, растирая затёкшее плечо. — Который час?

— Час? — Тимофей не понял. — Утро уже. Солнце встало.

«Который час» было ещё одним выражением, которое здесь не имело смысла. Дмитрий сделал мысленную пометку: часы, минуты, расписание — всё это здесь не работает. Время меряют по солнцу, по петухам, по церковным колоколам. Нужно отвыкать от хронометража. Нужно отвыкать от очень многого.

Агафья уже хлопотала у печи. На столе стояла та же глиняная миска, что и вчера, только теперь в ней дымилось что-то новое — похлёбка с грибами и какой-то крупой, кажется, ячменной. Рядом лежал ломоть чёрного хлеба, грубого, с вкраплениями отрубей. Дмитрий ел, а Тимофей сидел напротив и молчал. Молчание было не враждебным, а, скорее, выжидательным. Кузнец явно хотел что-то сказать, но не торопился.

Первым заговорил Дмитрий. Ему нужно было знать. Прямо сейчас. Пока он не сошёл с ума от неопределённости.

— Тимофей Прокопович, — начал он, старательно выстраивая фразу на старинный лад. — Скажи мне, какой нынче год от Рождества Христова? И кто на царстве?

Тимофей поднял бровь. Вопрос был странным для человека, который называет себя московским. В Москве такие вещи должен знать каждый.

— Год 1710-й, — ответил он медленно. — А на царстве государь Пётр Алексеевич. Уж который год воюет со свеем. Аль в Москве про то не ведают?

1710-й. Дмитрий мысленно выдохнул. Его догадка подтвердилась. Пётр I. Северная война. До Полтавы — два года назад, если он правильно помнил школьный курс. Прутский поход — через год. Санкт-Петербург уже строится. Россия, истекая кровью, разворачивается на Запад, прорубая окно в Европу. И он, Дмитрий Хворостов, инженер по автомобильной электронике из Москвы 2026 года, сидит в курной избе и ест ячменную похлёбку.

— Ведают, — сказал он. — Я просто... память отшибло. От холода.

Объяснение было шатким, но Тимофей, кажется, принял его. Или сделал вид, что принял. Он продолжал смотреть на Дмитрия с тем же выражением, с каким смотрят на диковинного зверя: любопытно, но лучше не подходить близко.

— Ты вчера говорил, что покажешь, как сделать ту штуковину, — сказал он. — Огниво твоё.

— Покажу, — пообещал Дмитрий. — Но сначала — другое. Мне нужно добраться до города. До Петербурга. Или до любого города, где есть власть. Где есть люди, которым я могу... пригодиться.

— Пригодиться? — Тимофей хмыкнул. — Кому ж ты понадобишься? Государю, что ли?

— Может, и государю.

Тимофей помолчал. Потом встал, подошёл к двери и выглянул наружу, словно проверяя, не подслушивает ли кто. Вернулся, сел обратно и заговорил тише.

— Ты, Дмитрий Александрович, человек странный. Одежда заморская, говоришь чудно, вещи при тебе невиданные. Я кузнец, я металл знаю. Та сталь, из которой твоё огниво сделано, — такой стали у нас нет. Ни у кого нет. Может, у английских мастеров, может, у голландских, но у нас — нет.

Он сделал паузу, и Дмитрий понял, что сейчас последует вывод. Тимофей не был дураком. Он был мастером, а мастера мыслят логически.

— Я так думаю, — продолжал кузнец, — что ты либо лазутчик, либо беглый. Может, из немцев, может, из своих, кто за границу сбежал и теперь вернулся. А может, — он перекрестился, — колдун. Прости Господи за такие слова.

— Не колдун, — сказал Дмитрий.

— А кто ж?

— Инженер. — Он произнёс это слово, забыв, что в XVIII веке оно звучит иначе. Тимофей нахмурился. — Инженер, — повторил Дмитрий. — Розмысл. Человек, который машины строит. Механизмы. Корабли. Крепости.

— Розмысл, — повторил Тимофей, и в его голосе прозвучало что-то похожее на уважение. — У нас таких при государе много. Только все из иностранцев. Своих мало. А ты, стало быть, свой?

— Свой, — сказал Дмитрий. — Русский. Только... долго жил за границей.

Это была легенда, которую он начал выстраивать прямо сейчас, на ходу. Русский розмысл, долго живший и учившийся за границей, вернулся на родину, чтобы служить государю. Правдоподобно? Вполне. Пётр и сам учился за границей. Пётр ценил тех, кто привозит знания из Европы.

— Допустим, — сказал Тимофей. — Тогда тебе и впрямь надобно в Петербург. Только идти туда не близко. Вёрст тридцать, а то и больше. Через леса. Одному — не дойти.

— Ты можешь помочь?

Тимофей вздохнул. Видно было, что он разрывается между любопытством мастера и осторожностью крестьянина. С одной стороны, этот странный гость обещал показать, как сделать диковинное огниво. С другой — связываться с подозрительным чужеземцем было опасно. Если он действительно лазутчик или беглый каторжник, помогать ему — значит навлечь на себя гнев властей.

— Я подумаю, — сказал он наконец. — А пока — сиди здесь. На улицу не выходи. Люди у нас разные, могут и донести. Понял?

Дмитрий кивнул. Он понял. Он был здесь чужим, и любой неосторожный шаг мог стоить ему жизни.

День прошёл в томительном бездействии. Дмитрий сидел на лавке, смотрел, как Агафья хлопочет по хозяйству, как дети играют на полу самодельными тряпичными куклами, как Тимофей то уходит во двор, то возвращается, принося с собой клубы морозного пара. Он чувствовал себя зверем в клетке потому, что сама эпоха была его клеткой. Каждая минута здесь была наполнена риском. Он не знал местных обычаев, не знал, как разговаривать с людьми, не знал, что можно, а что нельзя. Любой его жест, любое слово могло показаться подозритель-

ным. Он был как ребёнок, который только учится ходить, — только ставкой была не разбитая коленка, а жизнь.

К вечеру Тимофей вернулся мрачным. Он долго молчал, сидя у печи и глядя в огонь, потом заговорил:

— Я говорил со старостой. Сказал, что у меня гость московский, больной, лежит с лихорадкой. Староста велел завтра доложить приказчику. Приказчик — человек въедливый, будет спрашивать, кто таков, откуда, зачем. Если заподозрит неладное — пошлёт за солдатами. А солдаты, сам понимаешь...

Дмитрий понимал. Солдаты в петровской России — это не милиция из его времени. Они не будут разбираться, не будут выяснять личность. Схватят, бросят в яму, будут пытать, пока не сознается в шпионаже или колдовстве. А потом — казнь или каторга.

— Что предлагаешь? — спросил он.

Тимофей пожевал губами. Было видно, что решение даётся ему нелегко.

— Уходить тебе надо, — сказал он. — Прямо сейчас. Ночью. Я дам тулуп, валенки, хлеба в дорогу. Провожу до тракта, а там уж сам. Иди в Петербург. Коли ты и впрямь розмысл, там твоя судьба. А коли нет... — Он не договорил.

Дмитрий кивнул. Выбора не было. Нужно было уходить.

Агафья, всё это время молчавшая, вдруг поднялась с лавки и подошла к мужу. Она ничего не сказала — только тронула его за плечо и посмотрела долгим, тревожным взглядом. Тимофей накрыл её руку своей ладонью и кивнул: «Всё будет хорошо». Дмитрий почувствовал острый укол в сердце. Так смотрела на него Ольга, когда он задерживался на работе допоздна. Тревожно. Любяще. С надеждой, что всё обойдётся.

Он отвёл глаза.

Сборы были недолгими. Старый тулуп, пахнувший овчиной и дымом. Валенки на размер больше — пришлось намотать портянки в несколько слоёв. Холщовая котомка с краюхой хлеба, несколькими варёными яйцами и куском солёного сала. Огниво — настоящее, кремь и кресало, — потому что зажигалку Дмитрий решил не показывать лишний раз. И нож — тот самый, из чемодана с инструментами, с лезвием из шведской стали, которое Тимофей рассматривал особенно долго.

— Добрый нож, — сказал кузнец, возвращая его Дмитрию. — Береги.

Вышли затемно. Ночь была ясная, морозная, с огромными, невероятно яркими звёздами, каких Дмитрий никогда не видел в Москве. Млечный Путь висел над головой серебристой дугой, и от этого неба, от этих звёзд, от этой первозданной тишины захватывало дух. Если бы не обстоятельства, можно было бы даже залюбоваться.

Они шли через лес около часа. Тимофей шагал впереди, уверенно, не сбавляя темпа, и Дмитрий едва поспевал за ним, проваливаясь в снег и цепляясь за ветки. Наконец лес расступился, и перед ними открылась дорога — наезженный санный путь, укатанный полозьями до ледяного блеска.

— Вот, — сказал Тимофей. — Тракт на Петербург. Иди прямо, никуда не сворачивай. К утру дойдёшь до заставы. А там — как Бог даст.

Он замолчал. Потом, неожиданно для самого себя, перекрестил Дмитрия — широко, истово, как крестят в дорогу родного человека.

— Храни тебя Господь, розмысл.

Дмитрий не нашёлся, что ответить. Просто кивнул, пожал кузнецу руку — тот удивлённо посмотрел на этот жест, но руку не отдернул, — и пошёл по дороге на северо-запад. Туда, где, как он надеялся, его ждал Пётр.

Он прошёл метров двести, когда услышал за спиной шум. Конский топот. Много копыт. Скрип полозьев. Крики.

Дмитрий обернулся и увидел, как из леса, с той самой тропы, по которой они только что шли с Тимофеем, выезжают всадники. Человек десять, в зелёных мундирах, при саблях и ружьях. Во главе — офицер на гнедом коне, с лицом, не предвещавшим ничего хорошего. Они окружили Тимофея, который так и стоял на краю дороги.

— Стоять! — крикнул офицер. — Кто таков? Куда идёшь?

Тимофей что-то ответил — Дмитрий не расслышал слов. Один из солдат спешил и грубо толкнул кузнеца в снег. Другой заметил Дмитрия и указал на него рукой.

— Гляди, командир! Ещё один!

И тогда Дмитрий побежал. Он не был героем. Он был инженером, который всю жизнь проработал в автоателе и никогда не участвовал в драках, не считая пары стычек в студенческом общежитии. Но сейчас его тело действовало быстрее разума: нырнуть в лес, спрятаться за деревьями, уйти, исчезнуть, выжить.

Он бежал, проваливаясь в снег, слыша за спиной крики и выстрелы. Пуля ударила в ствол сосны рядом с его плечом, разорвав кору. Вторая просвистела над головой. Он нырнул в овраг, скатился вниз, больно ударившись плечом о замёрзший корень, и затаился.

Топот копыт приблизился. Всадники остановились на краю оврага.

— Ушёл, сволочь, — произнёс чей-то голос.

— Найдём, — ответил другой. — Тут недалеко. Провалиться ему некуда.

Кони всхрапнули. Копыта затопали, удаляясь.

Дмитрий лежал в снегу, тяжело дыша, и смотрел в небо, на равнодушные звёзды, которые светили ему так же, как светили его предкам триста лет назад. И в этот момент он понял, что его путешествие только начинается.

Глава 10. Механика доказательств

Овраг, в котором лежал Дмитрий, оказался глубже, чем он думал. Снег на дне был рыхлым, нетронутым, и он провалился в него почти по пояс, когда попытался встать. Выбраться удалось не сразу — пришлось ползти, цепляясь за корни и мёрзлые комья земли, пока наконец он не выполз на противоположный склон, мокрый, замёрзший, но живой.

Погоня ушла. По крайней мере, на время.

Он отряхнулся от снега, прислушался. Тишина. Только ветер шумит в кронах, да где-то вдалеке ухает сова — низко, протяжно, как старый сторож, отмечающий часы. Ни конского топота, ни криков. Можно было двигаться дальше, но вопрос «куда?» встал с новой остротой. Тракт отрезан. Солдаты явно ищут чужака, и ищут тщательно. Возвращаться в деревню нельзя — подставишь Тимофея. Лес кругом, мороз, ночь.

Он сел под старой елью, чьи лапы опускались до самой земли, образуя подобие шалаша, и попытался собраться с мыслями. Ситуация была паршивой, но не безвыходной. У него был нож. У него был газовый паяльник — источник огня. У него был плед, тулуп, валенки и немного еды. И у него была голова на плечах — не самая умная голова в мире, но способная анализировать и принимать решения.

Факты, — приказал он себе. — Сначала факты.

Факт первый: я нахожусь в лесу, в окрестностях строящегося Санкт-Петербурга. Год 1710-й. Северная война в разгаре. Повсюду военные патрули. Любой незнакомец вызывает подозрение.

Факт второй: я только что сбежал от солдатского патруля. Это усугубляет моё положение. Если меня поймут, будут допрашивать с пристрастием. Придётся либо врать, либо...

Либо — что? Сказать правду? «Я из будущего, господа офицеры, и могу быть полезен государю»? После таких слов его не просто арестуют, а немедленно сдадут в Преображенский приказ как колдуна и шпиона. Там разговор короткий: дыба, кнут, огонь. Он читал про петровские застенки. Этого добра в России хватало всегда.

Нет, правду сказать он не мог. Но и врать бесконечно — тоже не выход. Ложь требует деталей, детали путаются, а путаницу быстро раскусывают. Особенно такие люди, как Пётр, если верить историческим описаниям — умные, подозрительные, нетерпеливые.

Значит, нужна легенда. Простая, непротиворечивая, объясняющая и его знания, и его необычную одежду, и его необычный говор. Русский, долго живший в Голландии. Учился у тамошних мастеров. Вернулся на родину, чтобы служить государю. Документов нет — потерял в дороге. Вещи заморские — купил там же. Говорит странно — отвык от родной речи. Вроде бы всё сходится. А главное — эту легенду можно подкрепить делом. Если ему дадут шанс что-то починить, что-то построить, что-то объяснить, — он докажет свою полезность.

Он задремал под эти мысли и проснулся, когда небо начало светлеть. Мороз к утру усилился, и Дмитрий чувствовал, что пальцы на ногах онемели, несмотря на валенки. Нужно было двигаться. Он съел половину краюхи хлеба, отпил из бутылки с квасом (квас замёрз в ледяную кашу, но всё ещё утолял жажду) и двинулся на северо-запад, стараясь держаться параллельно тракту, но не выходя на открытое пространство.

К полудню он вышел к замёрзшей реке. Широкое белое поле, перерезанное редкими кустами тальника. На том берегу, в серой дымке, угадывались очертания строений — не деревенских изб, а чего-то более крупного, основательного. То ли монастырь, то ли крепость. Дмитрий прищурился, пытаясь разглядеть детали, но расстояние было слишком большим. В любом случае, там должны быть люди. А среди людей — кто-то, кто может принять решение.

Он перешёл реку по льду, стараясь ступать осторожно, — лёд был толстым, но кто знает, какие здесь могут быть полыньи, — и вскоре выбрался на дорогу, ведущую к поселению. Это оказалась не крепость и не монастырь, а что-то среднее: большое село с деревянной церковью и несколькими добротными домами, обнесённое частоколом. У ворот стоял караул — двое солдат в тех же зелёных мундирах, что и ночные преследователи. На плечах — фузеи. Лица сонные, замёрзшие, но при появлении незнакомца мгновенно подобравшиеся.

— Стой! Кто идёт? — окликнул один, вскидывая фузею.

Дмитрий остановился и поднял руки, показывая, что безоружен. Жест был универсальным во все времена.

— Путник, — сказал он. — Иду в Петербург. СбилсЯ с дороги. Прошу помощи.

Солдаты переглянулись. Старший — тот, что окликнул, — подошёл ближе, разглядывая Дмитрия с тем же выражением, что и все предыдущие: смесь подозрительности и любопытства.

— Откуда такой?

— Из Москвы. Долго жил в Голландии. Возвращаюсь на родину. — Он старался говорить медленно, чётко, проглатывая московскую скороговорку.

— В Голландии, говоришь? — Солдат сплюнул в снег. — А одежда на тебе чья? Голландская?

— Голландская.

— И что ж ты там делал?

— Учился. Инженерному делу. Розмысл я.

Слово «розмысл» снова сработало. Солдаты переглянулись ещё раз, и на их лицах появилось что-то вроде уважения — или, по крайней мере, готовности не стрелять сразу.

— Инженер, стало быть, — протянул старший. — Это мы сейчас проверим.

Он кивнул напарнику, и тот скрылся за воротами. Через несколько минут он вернулся в сопровождении человека в офицерском мундире — невысокого, сухощавого, с быстрыми, цепкими глазами. Офицер был явно из немцев: светлые волосы, острые скулы, акцент, который Дмитрий заметил сразу, как только тот заговорил.

— Господин инженер? — произнёс офицер по-русски, но с заметным немецким выговором. — Это весьма своевременно. У нас как раз имеется одна... механическая проблема. Не угодно ли взглянуть?

Это был вызов. Дмитрий понял это сразу. Не просьба о помощи, а проверка. Если он действительно инженер, он справится. Если нет — самозванца ждут неприятности.

— Угодно, — ответил он.

Его провели внутрь частокола, в просторный двор, где стояло несколько пушек на лафетах. Судя по всему, это был артиллерийский склад или ремонтная мастерская. У одной из пушек сутились двое мастеровых — видимо, безуспешно пытались что-то починить. Рядом стоял ещё один офицер, старше по званию, с лицом человека, который уже устал ждать и злиться.

— Вот, — сказал немец, подводя Дмитрия к орудию. — Механизм вертикальной наводки заклинило. Винт не вращается. Пытались разобрать — не смогли. Если вы инженер, может быть, вы нам поможете?

Дмитрий подошёл к пушке. Это было тяжёлое полевое орудие — шестифунтовка, если он правильно помнил классификацию. Лафет деревянный, окованный железом. Механизм наводки представлял собой вертикальный винт с гайкой, которая двигала казённую часть вверх и вниз. Простая механика. Очень простая.

Он наклонился, осмотрел винт. Резьба была целой, без видимых повреждений. Гайка — тоже. Он попытался повернуть винт рукой — не шло. Тогда он присел на корточки и заглянул под лафет, туда, где винт уходил в опорную плиту.

И увидел проблему.

Винт был прикреплён к опорной плите через простейший шарнир — железный палец, продетый в проушину. Палец был заклинен, потому что проушина деформировалась от удара. Вероятно, при отдаче после выстрела лафет дёрнулся, и шарнир принял на себя боковую нагрузку, на которую не был рассчитан.

— Инструменты есть? — спросил он.

Немец кивнул мастеровым. Те принесли ящик с инструментами: молотки, зубила, напильники, клещи. Всё грубое, кованое, но вполне функциональное. Дмитрий выбрал молоток поменьше и плоское зубило.

— Нужно выбить палец, — объяснил он. — Он заклинен. Если попробовать вращать винт силой — сорвёте резьбу. Тогда менять весь механизм.

Он вставил зубило в зазор между проушиной и пальцем, аккуратно, без лишней спешки, и несколько раз ударил молотком. Палец не поддался. Он сменил угол, ударил ещё раз, и ещё, и вдруг с глухим железным стуком палец вышел. Дмитрий осмотрел его: деформация была видна невооружённым глазом.

— Нужен новый палец, — сказал он. — Этот уже не годится. И проушину надо выправить — вон, видите, металл повело. Если есть кузня, я сделаю.

Немец посмотрел на старшего офицера. Тот молча кивнул.

— Кузня есть, — сказал немец. — Идёмте.

Следующие два часа Дмитрий провёл в кузнице — маленькой, но добротной, с горном, наковальней и набором инструментов. Он чувствовал себя в своей стихии. Железо, огонь, механика — это был его мир, его язык, его способ существования. Он нагрел заготовку, отковал новый палец, закалил его в масле, остудил и обточил напильником до нужного диаметра. Потом выправил проушину, вставил палец, смазал шарнир и проверил вращение. Винт ходил плавно, без заеданий.

— Готово, — сказал он, вытирая руки ветошью. — Можете проверять.

Старший офицер подошёл к пушке, взялся за рукоятку винта и несколько раз повернул её вверх и вниз. Механизм работал идеально.

— Gut, — произнёс он, и впервые на его лице появилось что-то похожее на одобрение. — Очень хорошо. Вы действительно инженер.

Он повернулся к немцу и сказал что-то по-немецки, чего Дмитрий не разобрал. Тот кивнул и вышел. Офицер же подошёл к Дмитрию и остановился напротив, глядя ему прямо в глаза.

— Моя фамилия — Брюс, — сказал он. — Яков Вилимович Брюс. Генерал-фельдцейхмейстер русской артиллерии. А вы, судя по всему, человек, который может быть полезен государю. Как вас зовут?

Дмитрий едва не поперхнулся. Яков Брюс. Тот самый Брюс — сподвижник Петра, учёный, артиллерист, алхимик, человек, которого в народе считали колдуном. В его время о Брюсе ходили легенды: говорили, что он летал на железном орле, что знает тайну живой и мёртвой воды, что владеет чёрной книгой, которую держит под замком в Сухаревой башне. Но в то же время он был одним из самых образованных людей России, математиком, астрономом, инженером. Если кто и мог понять Дмитрия, так это Брюс.

— Дмитрий Александрович Хворостов, — ответил он. — Инженер. Долго жил и учился в Голландии. Вернулся, чтобы служить России.

Брюс выслушал и слегка прищурился. Что-то в этой легенде ему явно показалось неубедительным, но он не стал давить.

— Хворостов, — повторил он. — Хорошо. Сегодня вы поедете со мной. Государь сейчас в Петербурге, но завтра или послезавтра он будет здесь, в Шлиссельбурге. Я представлю вас ему. А пока, — он сделал паузу, — расскажите мне о вашей учёбе. Что именно вы изучали в Голландии?

И Дмитрий начал рассказывать. Он говорил о механике, о сопроамате, о гидравлике, об электричестве. Он старался не выходить за рамки того, что могло быть известно в начале XVIII века, но иногда, увлекаясь, он употреблял термины, которые здесь ещё не знали, и тогда Брюс поднимал бровь и просил объяснить. И Дмитрий объяснял. Чертил схемы на снегу палкой. Показывал принцип работы на пальцах. Брюс слушал, кивал, задавал точные, умные вопросы. Дмитрий чувствовал, что его экзаменуют, — но впервые это был экзамен, который он сдавал с удовольствием.

Наконец, когда стемнело, Брюс поднялся и сказал:

— Довольно. На сегодня довольно. Вы будете ночевать здесь, в Шлиссельбурге. Завтра продолжим разговор. — Он помолчал и добавил: — Я не знаю, кто вы на самом деле, господин Хворостов. Но если вы владеете хотя бы половиной того, о чём рассказываете, вы нужны России.

— Я владею, — сказал Дмитрий. — И я расскажу вам больше. Гораздо больше.

Брюс кивнул и вышел. А Дмитрий остался сидеть на лавке, глядя в огонь, и впервые за эти двое суток почувствовал, что всё может получиться. Что его жизнь здесь имеет смысл. Что он не просто выживает, а начинает действовать.

Завтра он будет говорить с Брюсом снова. А послезавтра — если всё сложится — с самим Петром.

Глава 11. Глаза в глаза с исполином

Шлиссельбург встретил Дмитрия запахом казармы. Кислая капуста, мокрое сукно, дешёвый табак, конский навоз и ещё что-то неуловимое — кажется, смола, которой смолили днища галер, стоявших у причалов. Крепость была старая, шведская, взятая русскими войсками восемь лет назад, но уже обжитая, обрусевшая, пропитанная запахами солдатского быта так, что никакой сквозняк не мог её проветрить.

Дмитрию выделили угол в офицерском флигеле — крошечную комнату с топчаном, столом и печью, которая дымила так, что приходилось держать дверь приоткрытой. Он не жаловался. После двух ночей в лесу и одной на печной лежанке у Тимофея эта комната казалась почти роскошной. Здесь был стол. Здесь можно было разложить бумаги — чистые листы, которые ему выдал писарь Брюса вместе с чернильницей и гусиным пером. Дмитрий вертел перо в руках, пытаясь понять, как им пользоваться, и в конце концов просто отломил кончик под углом, как когда-то читал в книге по каллиграфии. Получилось грубо, но писать было можно.

Он сел за стол и начал чертить.

Это была его старая привычка: когда мыслей слишком много и они путаются в голове, нужно выложить их на бумагу. Он чертил не для Брюса и не для Петра — для себя. Схема генератора переменного тока. Принцип работы четырёхтактного двигателя. Устройство простейшего радиопередатчика. Электролизёр для получения водорода. Он не собирался показывать это всё прямо сейчас — это было бы слишком, непонятно, подозрительно, — но ему нужно было упорядочить знания, понять, с чего начать. Что можно объяснить в терминах XVIII века, а что придётся отложить до лучших времён.

Он просидел за этим занятием до вечера. Потом пришёл вестовой и сообщил, что генерал-фельдцейхмейстер Брюс просит его к ужину.

Ужинали в доме коменданта крепости — просторной избе, мало отличавшейся от крестьянской, разве что размерами. За столом, кроме Брюса, сидели ещё два офицера-артиллериста, оба немцы, оба говорили по-русски с акцентом. Брюс представил Дмитрия как «голландского инженера», и тот не стал поправлять. Легенда начинала обрывать плоть.

Разговор за столом шёл о войне. О шведах, которые всё ещё огрызались, несмотря на Полтаву. О турках, которые грозили с юга. О нехватке пушек, пороха, обученных канониров. Дмитрий слушал и запоминал. Он знал из истории, чем закончится эта война, знал про Прутский поход и его катастрофу, но молчал. Всему своё время.

После ужина Брюс задержал его.

— Завтра прибывает государь, — сказал он, раскуривая длинную голландскую трубку. — Я говорил о вас с ним в письме. Он заинтересован, но... — Брюс сделал паузу, выдохнул клуб ароматного дыма. — Государь не любит, когда ему морочат голову. Он будет проверять вас. Лично. И если заподозрит обман — я вам не завидую.

— Я понимаю, — сказал Дмитрий.

— Понимаете ли? — Брюс посмотрел на него долгим, изучающим взглядом. — Я многое повидал, господин Хворостов. Я видел алхимиков, которые обещали превратить свинец в золото. Я видел механиков, которые утверждали, что построят вечный двигатель. Я видел шарлатанов всех мастей. Но вы... — он запнулся, подбирая слова. — Вы не похожи на шарлатана. Вы говорите о вещах, которых не знает никто в Европе, и говорите так, будто это азбучные истины. Это либо гениальность, либо безумие. Либо и то и другое сразу.

— Я не безумен, — сказал Дмитрий.

— Это-то меня и пугает.

Они помолчали. Потом Брюс поднялся.

— Идите спать. Завтра вам понадобятся все силы.

Утро выдалось ясным и морозным. Дмитрий проснулся затемно, умылся ледяной водой из кадки, оделся в свой голландский костюм — единственную одежду, которая у него была, если не считать подаренного Тимофеем тулупа, — и вышел во двор.

Крепость гудела, как растревоженный улей. Солдаты чистили мундиры, офицеры носились с бумагами, у ворот выстраивался почётный караул. Прибытие государя было событием, которое встряхивало весь гарнизон.

Около полудня на дороге показался санный поезд. Десяток саней, запряжённых отборными лошадьми, с грохотом и звоном бубенцов влетел в ворота крепости. Из первых саней, не дожидаясь, пока они остановятся, выпрыгнул человек.

Дмитрий увидел его впервые — не на портрете, не в учебнике, не в фильме, а живого, настоящего. Пётр был огромен — не просто высок, а широк и массивен, как корабельный брус. Ростом под два метра, с крепкими мозолистыми руками, которые казались способными согнуть подкову. Одет он был не в царские одежды, а в простой зелёный кафтан, какие носили офицеры Преображенского полка, — с пятнами смолы на рукавах. На ногах — стоптанные ботфорты. На голове — старая треуголка без галуна. Если бы не рост и не то, как почтительно расступались перед ним офицеры, его можно было бы принять за простого корабельного мастера.

Пётр окинул двор быстрым, пронзительным взглядом и сразу же заметил Дмитрия. Тот стоял в стороне, у стены кузницы, и смотрел на царя, чувствуя, как сердце колотится где-то в горле.

— Это он? — спросил Пётр у Брюса, не поздоровавшись.

— Он, государь.

Пётр подошёл к Дмитрию. Тот невольно вытянулся, хотя был выше среднего роста и привык смотреть на людей сверху вниз. Сейчас он чувствовал себя мальчишкой перед директором школы.

— Голландский инженер, значит, — произнёс Пётр, разглядывая его одежду. Голос у него был низкий, хрипловатый, но не грубый. — А по выговору — московский. Странно.

— Я родился в Москве, государь, — сказал Дмитрий, стараясь, чтобы голос звучал ровно. — В Голландию уехал учиться.

— И чему ж ты там выучился?

Дмитрий набрал воздуха. Вот он, момент истины.

— Многому. Механике. Гидравлике. Электричеству. Фортификации. Корабельному делу. Металлургии. Химии. Математике. Астрономии.

Пётр слушал, и на его лице попеременно отражались скепсис, любопытство и нетерпение.

— Электричество, — повторил он. — Я слышал про это. Англичанин Гильберт писал, и немец Герике тоже. Но дальше искр дело не шло. Что ты знаешь об электричестве такого, чего не знают они?

И Дмитрий начал рассказывать. Он говорил о зарядах, о проводниках и изоляторах, о батареях и аккумуляторах, о том, как электричество можно использовать для связи и освещения. Он старался избегать терминов, которых здесь ещё не знали, но иногда они вырывались сами собой — «напряжение», «ток», «сопротивление», — и тогда Пётр перебивал его и требовал объяснить. И Дмитрий объяснял. На пальцах, на палочке, рисуя на снегу, прямо на глазах у изумлённых офицеров и замерших солдат почётного караула.

Наконец Пётр поднял руку, останавливая его.

— Довольно. Я вижу, что ты знаешь много. Но слова — это только слова. Я хочу видеть дело. Ты говоришь, что можешь сделать батарею. Делай. Сколько тебе нужно времени?

— Зависит от материалов, государь. Мне нужна медь, цинк и серная кислота. Или хотя бы уксус.

— Всё будет. — Пётр повернулся к Брюсу. — Яков, проследи. Дайте ему всё, что нужно. И людей. И мастерскую. Через два дня я хочу видеть это... как ты его назвал?

— Электрическая батарея, государь.

— Батарея. — Пётр попробовал слово на вкус и кивнул. — Хорошо. Через два дня. И если ты меня обманешь, — он усмехнулся недоброй усмешкой, — пеняй на себя. Я шарлатанов не жалую.

Дмитрий поклонился, чувствуя, как по спине бежит холодный пот. Два дня. У него было два дня, чтобы построить первую в России электрическую батарею.

— А теперь, — сказал Пётр, — показывай свою белую карету.

Дмитрий замер.

— Ваше величество?

— Мне доложили, — произнёс Пётр с усмешкой, в которой сквозило и любопытство, и что-то, похожее на мальчишеский азарт. — Из деревни, где ты объявился, прибежал мужик. Говорит, в лесу стоит белая карета без лошадей. Мои драгуны её нашли. Твоя?

Дмитрий выдохнул. Машина. Они нашли машину.

— Моя, государь.

— Тогда веди. Я хочу посмотреть, на чём ездят голландские инженеры.

Машина стояла на той же поляне, где он её оставил. За двое суток её занесло снегом почти до половины, но белый корпус Ford Explorer всё ещё возвышался над сугробами, словно айсберг, отколовшийся от далёкой планеты. Вокруг толпились драгуны — человек двадцать, — и лица у них были растерянные, даже испуганные. Они никогда не видели ничего подобного. Гладкий металл, прозрачное стекло, колёса из чёрной резины с непонятным рисунком протектора, фары, которые не были ни свечами, ни фонарями, ни масляными лампами.

Пётр обошёл машину кругом, два раза. Потрогал капот рукой, постучал костяшками пальцев по стеклу, заглянул в салон. Дмитрий стоял рядом и молчал, понимая, что сейчас каждое его слово может стать решающим.

— Что это? — спросил Пётр тихо. Без усмешки, без вызова, с искренним, почти детским изумлением.

— Самодвижущаяся повозка, государь. Такие делают... в очень далёких землях.

— Далёких? — Пётр прищурился. — Голландия — далеко, но я был в Голландии. Я жил в Амстердаме. Я работал на верфях Ост-Индской компании. И я никогда не видел ничего подобного. Ни в Голландии, ни в Англии, ни в Германии.

Дмитрий молчал. Пётр посмотрел на него в упор — тем самым взглядом, от которого, по легенде, у самых храбрых офицеров подкашивались ноги.

— Ты не голландский инженер, — сказал он. — Я не знаю, кто ты. Может быть, ты человек из другого мира. Может быть, ты колдун. Может быть, шпион или беглый каторжник. Но я знаю одно: ты обладаешь знанием, которого нет ни у кого в Европе. И если ты поделишься этим знанием со мной, я сделаю тебя богатым и могущественным. Если нет — я прикажу тебя пытать, пока ты не расскажешь всё, что знаешь. Выбирай.

Он говорил это спокойно, без злобы, как о чём-то само собой разумеющемся. И Дмитрий понял, что это не угроза. Это просто констатация факта. Пётр действительно думал и действовал именно так: всё для государства, всё для России, а средства не важны.

— Я выберу первое, государь, — сказал Дмитрий. — Я расскажу вам всё. Но это долгий разговор.

Пётр кивнул.

— Тогда начинай.

Глава 12. У карты империи

Разговор начался в тот же вечер. Брюс, понимая важность момента, предоставил свой кабинет — небольшую комнату в комендантском доме, с дубовым столом, заваленным бумагами, с голландской печью, пышущей жаром, и с огромной картой Европы на стене. Карта была старая, с неточностями, — Дмитрий заметил это сразу, едва взглянув. Очертания Балтийского моря были смещены, Каспий растянут, а Сибирь обрывалась где-то за Уралом, уступая место белой пустоте с надписью «Tartaria Incognita». Но для своего времени это была лучшая картография.

Пётр сидел во главе стола, подперев голову рукой. Он был уставшим — Дмитрий видел это по красным прожилкам в глазах, по тому, как тяжело он опустился на стул, — но взгляд оставался цепким, живым, голодным до информации. Больше в комнате никого не было, только они двое. Пётр приказал страже никого не впускать.

— Говори, — приказал царь. — С самого начала. Кто ты такой и откуда.

И Дмитрий заговорил. Он рассказывал не так, как рассказывал бы историк или шпион, — он говорил как инженер, который описывает механизм. Факты, даты, причинно-следственные связи. Он начал издавелека — со своего рождения в 1983 году, — но быстро понял, что это бессмысленно, и перешёл к сути.

Он сказал, что прибыл из будущего. Из очень далёкого будущего, отделённого от нынешнего времени тремя столетиями. Он рассказал о том, что в его времени машины летают по небу, а информация передаётся мгновенно через невидимые волны. Он рассказал о том, что попал сюда случайно, и что не знает, можно ли вернуться обратно.

Пётр слушал молча, не перебивая. Лицо его оставалось каменным, но руки выдавали напряжение — он то сжимал, то разжимал кулак, лежащий на столе. Когда Дмитрий закончил, в комнате повисла долгая, звенящая тишина.

— Если ты лжёшь, — медленно произнёс Пётр, — ты умрёшь мучительной смертью. Если ты говоришь правду — я не знаю, что с тобой делать. Молиться на тебя или сжечь как колдуна.

— Я не колдун, государь. Я просто человек, знающий больше, чем знают сейчас.

— Больше, чем знают сейчас, — повторил Пётр. — Хорошо. Тогда скажи мне: что будет с Россией?

Дмитрий глубоко вздохнул. Вот ради чего он здесь. Вот ради чего он прожил эти дни, выжил в лесу, починил пушку, стоял сейчас перед царём. Он подошёл к карте и провёл рукой по огромному пространству от Балтики до Тихого океана.

— Эта страна, государь, станет величайшей империей в истории человечества. По территории, по ресурсам, по военной мощи. Но путь будет долгим и кровавым.

И он начал рассказывать. Сначала — о том, что Пётр знал и так. О Северной войне, которая ещё не закончена. О том, что после Полтавы Швеция будет сломлена, но мир будет подписан только через одиннадцать лет, в Ништадте. Пётр кивнул — это соответствовало его планам.

Потом Дмитрий перешёл к тому, чего Пётр знать не мог. О Прутском походе. Он говорил медленно, подбирая слова, словно ступая по тонкому льду. Он рассказал, как летом следующего, 1711 года, русская армия во главе с самим Петром будет окружена турками на берегах Прута. Как положение станет отчаянным. Как царица Екатерина, которая будет сопровождать мужа в походе, соберёт все свои драгоценности, чтобы подкупить великого визиря. Как переговоры будут идти на грани катастрофы, и только чудо спасёт и армию, и самого Петра от гибели или плена.

Пётр слушал, и его лицо темнело. Он не верил. Дмитрий видел это по тому, как царь сжимал челюсти, как барабанил пальцами по столу.

— Ты утверждаешь, что я проиграю туркам? — переспросил он. — Я, который разбил лучшую армию Европы под Полтавой?

— Вы не проиграете, государь. Но и не выиграете. Армия будет спасена, но Азов придётся вернуть. И флот на Азовском море будет потерян.

Пётр встал и прошёлся по комнате. Шаги его были тяжёлыми, и половицы скрипели под его весом. Он повернул голову и посмотрел на Дмитрия с выражением, которое трудно было расшифровать: изумление пополам с ужасом.

— Допустим, — произнёс Пётр, останавливаясь у карты. — Допустим, ты не лжёшь. Тогда ты знаешь, как этого избежать. Зачем ты здесь, если не для того, чтобы предупредить меня?

— Для этого, государь. И для многого другого. Но предупреждение — только начало. Я знаю не только о Прутском походе. Я знаю обо всём, что случится с Россией в ближайшие триста лет.

— Тогда говори.

И Дмитрий начал говорить.

Он говорил о том, как после смерти Петра Россия погрузится в эпоху дворцовых переворотов. Он не стал называть имён преемников — это было бы слишком жестоко по отношению к Елизавете или Петру Алексеевичу, — но дал понять, что после смерти царя начнётся борьба за власть, которая затормозит все реформы.

Он говорил о войне с Наполеоном — не вдаваясь в детали, но упомянув, что через сто лет Россия столкнётся с величайшим полководцем Европы и выйдет победителем, но заплатит за это сожжённой Москвой.

Он говорил о Крымской войне — о том, как Россия окажется в изоляции, как падёт Севастополь, как флот будет затоплен в бухте.

Он говорил о революции. Медленно, осторожно, стараясь не выдать своих чувств. О том, как в начале XX века рухнет монархия. Как царская семья будет расстреляна в подвале Ипатьевского дома. Как начнётся гражданская война. Как к власти придут большевики. Пётр при этих словах перестал ходить и замер у окна, глядя в темноту.

— Царская семья, — повторил он глухо. — Мои потомки. Расстреляны?

— Да, государь.

— Кем?

— Своими же. Русскими.

Пётр молчал. Потом резко повернулся, схватил со стола чернильницу и швырнул её в стену. Чернила брызнули во все стороны чёрными каплями. Дмитрий вздрогнул, его сердце ушло в пятки, но он остался стоять на месте, глядя прямо в глаза разъярённому царю.

— Ты понимаешь, — голос Петра дрожал от ярости, — что, если я тебе поверю, я должен буду изменить всё? Всё, что я делаю, всё, что я строю, — всё пойдёт прахом через двести лет?!

— Если вы не измените ничего, государь, так и будет. Но теперь вы знаете. И можете изменить.

Пётр несколько мгновений смотрел на него. Потом медленно, словно нехотя, кивнул.

— Продолжай.

И Дмитрий продолжил. Он рассказал о Второй мировой войне — не называя дат и имён, но описав масштаб: десятки миллионов погибших, блокада Ленинграда, битва за Сталинград. Рассказал о том, как Россия выйдет из этой войны сверхдержавой. Рассказал о холодной войне, о ядерном оружии, о полёте Гагарина, о крахе Советского Союза в 1991 году. Он говорил и говорил, и голос его становился глуше, а лицо Петра — мрачнее.

Когда он дошёл до своего времени — до Москвы 2026 года, до автомобилей, интернета, космических станций и экспериментов в ЦЕРНе, — Пётр уже сидел, обхватив голову руками.

— Триста лет, — произнёс он. — Ты рассказал мне историю трёхсот лет моей страны за один вечер. И большая часть этой истории — кровь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.